НОВАЯ ПОЛЬША

№11 (58) 2004

НАТАЛЬЯ ГОРБАНЕВСКАЯ О ПОЭТАХ-ПОВСТАНЦАХ

Спор о Мандельштаме

Борис Дубин о Витольде Гомбровиче

СТИХИ: Бачинский, Боровский, Гайцы, Строинский, Вирпша

ПРОЗА: Евстахий Рыльский

ИМЯ — НИКИФОР, ПРОФЕССИЯ — МАТЕЙКО

Беседа с Ружей Тун

ВАРШАВА

ISSN 1508-5589

Приглашаем всех читателей посетить интернет-сайт «Новой Польши»:

www.novpol.ru

«Новая Польша» в сети - это не только зеркало текущего номера.
В виртуальной версии журнала Вы найдете постоянно пополняющийся архив «бумажных» изданий, а также текущие обзоры польских журналов и другие материалы, подготовленные специально для интернет-сайта.

НОВАЯ ПОЛЬША

№ 11(58)
2004
НОЯБРЬ

ISSN 1508-5589

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Наталья Горбаневская 3
ВЕНОК ПОЛЕГШИМ

Тадеуш Боровский 10
ПОГИБШИЕ ПОЭТЫ

Кшиштоф Камиль Бачинский 11
СТИХОТВОРЕНИЯ

Анджей Тшебинский 12
ИЗ ДНЕВНИКА

Тадеуш Гайцы 19
СТИХОТВОРЕНИЯ

Здислав Строинский 21
СТИХОТВОРЕНИЕ

Виктор Кулерский 22
ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

Петр Войцеховский 28
КАТОЛИЧЕСТВО ОБРАЩАЕТСЯ В ХРИСТИАНСТВО

Ежи Редлих 32
ФОРУМ В КРИНИЦЕ — НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

Ежи Помяновский 34
НЕУСТАРЕВШАЯ ТЕМА

Борис Дубин 37
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГОМБРОВИЧА

Витольд Гомбрович 39
ИЗ «ДНЕВНИКА»

«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ РУССКИЕ» ИЗ ПЕРВОЙ ГИЛЬДИИ 42
Рассказывает Андрей Нечаев

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС НАТО В ЩЕЦИНЕ 48
Беседа с командующим Эгоном Раммсом

Петр Черемушкин 50
ПАН ПРОФЕССОР С ЛЕНИНСКОГО ПРОСПЕКТА

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Гжегож Садовский 59
СИЛА ВОЛИ

Владимир Британишский 60
БЕСПОКОЙНЫЙ ДУХ

Витольд Вирпша 64
ИЗ НОВЫХ ПЕРЕВОДОВ

Евстахий Рыльский 68
ЧЕЛОВЕК В ТЕНИ

Янина Куманецкая 70
ПРОФЕССИЯ — МАТЕЙКО

Лешек Шаруга 73
ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Янина Куманецкая 76
ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

МЫ СПОСОБСТВУЕМ МОБИЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 79
Беседа с Ружей Тун

СООБЩАЕТ «МЕМОРИАЛ»

ПОДДЕРЖКА МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В МЕДНОМ 84

Переводчики: А.Базилевский, А. Бондарев, В. Британишский, А. Гелескул, Н.Горбаневская, Б. Дубин, Г. Ефремов, Н.Кузнецов, М. Петровых, А. Равич, Б. Слуцкий, Е. Шиманская, Ю. Чайников.
Фото ©: Archiwum (стр. 10, 11, 13, 19, 21, 37, 50), M. Boltryk (стр. 42), East News (стр. 59), A. Szypowski (стр. 60), Agencja Gazeta (стр. 79)

Редакционный совет
Стефан Братковский
Хенрик Возняковский
Наталья Горбаневская
Ежи Клочовский
Кароль Модзелевский
Януш Тазбир
Станислав Чёсек

Ежи Помяновский
(главный редактор)

Редколлегия
Элиза Вольская
Наталья Горбаневская
Никита Кузнецов
Виктор Кулерский
Янина Куманецкая
Петр Мицнер *(зам. гл. редактора)*
Кристина Пашек *(секретариат)*
Гжегож Пшебинда
Ежи Редлих *(зам. гл. редактора)*
Станислав Филипчак
(ответственный секретарь)
Лешек Шаруга
Дмитрий Шевионков-Кисмелов
(главный художник)

Графика и макет
Дмитрий Шевионков-Кисмелов

Техническая редакция
Кацпер Ванчик

Адрес редакции
Al.Niepodległości, 213
02-086 Warszawa
Ал. Неподлеглости, 213
02-086 Варшава
тел: **(0-22) 608 27 95;608 25 65**
факс: **(0-22) 608 25 05; 608 27 96**
e-mail: **nowpol@bn.org.pl**
Информация о журнале для стран СНГ:
Издательство МИК, Москва, ул. Большая Переяславская, д.15, кв. 49
тел.: **280-83-52**
e-mail: **mik@mecom.ru**

Издатель
BIBLIOTEKA NARODOWA
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
По поручению Министерства Культуры Республики Польша
Тираж 4800 экз.

Наталья Горбаневская

ВЕНОК ПОЛЕГШИМ

Один давний московский вечер

В эти дни, в эти первые недели после кончины Милоша (пишу в сентябре) естественно начать статью с цитаты из него — правда, так оно и было задумано, когда поэт еще был жив. Его смерть заставила отложить статью о «двадцатилетних варшавских поэтах», которую я первоначально хотела отдать в номер, посвященный 60-летию Варшавского восстания и оказавшийся наполовину посвященным памяти Милоша — очевидца восстания. Теперь она выходит уже и после годовщины подписанной повстанческим командованием капитуляции... Выходит в ноябре — том месяце, где у католиков день Поминовения Усопших (а у нас — Дмитриевская родительская суббота, тоже поминовение усопших).

За капитуляцией Варшавского восстания, как известно, последовали несколько месяцев систематического разрушения столицы непокорной страны. С детства мне запомнились кадры из фильма «Непокоренный город»: немцы с огнеметами, движущиеся от дома к дому (теперь разрушение Варшавы вы можете увидеть в «Пианисте» Полянского)... А позже — смешная и горькая карикатура Збигнева Ленгрена: один уцелевший дом в пролете двух рядов руин — и послевоенный чиновник, указывающий на него со словами: «Вот здесь мы проложим улицу!»

...Но начнем все-таки с Милоша:

В наш век есть то, чего не увидали
Двадцатилетние варшавские поэты, —
То, что идеям сдастся, не Давидам
С пращою. (...)
Стояла раненая Богоматерь
Над желтым полем и венком полегших.

Те юноши растерянно касались
Стола и стула утром, словно в ливень
Нетронутый находишь одуванчик.
Для них дробились в радугу предметы,
Размытые, как в отошедшем прошлом.
Возможность славы, мудрости, покоя
Они своей молитвой отвергали.
Все их стихи — о мужестве молебен:
«Когда мы будем изгнаны из жизни,
Наш дом златой, в постель из малахита
Ты на ночь нас — на вечную — прими».
И ни один герой у древних греков
Не шел на битву так лишен надежды,
Воображая свой бесцветный череп,
Откинутый ботинком равнодушным.

Поляком или немцем был Коперник?
У памятника пал с венком Боярский.
Должна быть жертва чистой и бесцельной.
Тшебинский, этот новый польский Ницше,
Шел на расстрел со ртом, залитым гипсом,
Запомнил стену, медленные тучи,
Секунду глядя черными глазами.
Бачинский пал ничком, лицом к винтовке.
Восстание спугнуло голубей.
Строинский, Гайцы были взнесены
В багрянец неба на щите разрыва.

(«Поэтический трактат»)

Об этих юношах, «двадцатилетних варшавских поэтах», «Давидах с пращою», рассказывала я в Москве году в 73-74-м нескольким десяткам старшеклассников из 2-й математической школы. Знаменитой школы, где еще незадолго до того, до своей вынужденной эмиграции, преподавал мой друг Анатолий Якобсон и куда меня позвали рассказать — как было сказано, о чем я захочу. Например об Ахматовой. Звал меня туда человек отчаянный, учитель математики и будущий политзэк Валерий Сендеров. Не будучи такой отчаянной, я решила, что выступление об Ахматовой, с чтением отрывков из ненапечатанного в СССР «Реквиема» и ненапечатанного же эпилога «Поэмы без героя» — а иначе не стоило и разговор заводить, — может оказаться опасным для школы: оттуда уже и так выметали былой либерализм. (Это было после того, как там разогнали половину учителей и в «Хронике текущих событий» появилась замет-

ка «Конец Второй школы».) И стала готовить «своих поляков»: по крайней мере тема мало кому в те времена в нашей стране известная, да еще, как я надеялась, интересная ребятам, которым было всего на несколько лет поменьше, чем героям моего повествования. Тут мне позвонили и сказали, что, пожалуй, лучше все-таки провести эту встречу не в школе, а дома у учительницы литературы. И то верно: мое имя тоже могло произвести на школьное начальство, мягко говоря, неблагоприятное впечатление.

То, что я рассказала в тот вечер школьникам в, как мне помнится, полуподвальной квартире неподалеку от Зубовской (и от печальной памяти Института Сербского), где входящих встречала большая фотография Солженицына на стене, сжато изложено в моем комментарии к переводу «Поэтического трактата» (1959, перевод — 1982):

«В 1943 г. Третий Рейх торжественно праздновал 400-летие со дня рождения „великого немецкого ученого" Николая Коперника. В знак протеста молодые поэты из группы „Искусство и нация" решили возложить венок к памятнику Коперника. Памятник охранялся — именно во избежание манифестаций польского патриотизма. Венок возложил Вацлав Боярский, Здислав Строинский делал фотографии, Тадеуш Гайцы с пистолетом прикрывал акцию. Уходя от погони, Боярский наткнулся на патруль и был смертельно ранен — он умер в тюремной больнице. Арестованный Строинский успел уничтожить пленку, а затем и доказать, что он, провинциал, в Варшаве оказался случайно и ни к чему отношения не имеет. Освобожденный через несколько месяцев после ареста, он погиб в 1944 г. во время Варшавского восстания в один день с Гайцы. Анджей Тшебинский, поэт, прозаик и драматург, был в первую очередь теоретиком этой группы, патриотизм которой доходил до великопольского шовинизма и имперской идеологии и приводил к проповеди утилитарного искусства. В 1943 г. Тшебинский попал в облаву и был расстрелян в развалинах варшавского гетто. Чтобы расстреливаемые не могли кричать, им заливали рты гипсом.

Кшиштоф Камиль Бачинский (не примыкавший к группе „Искусство и нация", но так же, как и вышеназванные поэты, боец Армии Крайовой) был, несомненно, самым многообещавшим поэтом этого поколения. После смерти его сравнивали с Юлиушем Словацким. Все эти поэты погибли в возрасте 22-23 лет. Милош во время оккупации хорошо знал всю эту молодежь, составлявшую, как и он, часть подпольной культурной жизни Варшавы. (Многие страницы дневника Тшебинского посвящены полемике с Милошем: идейное несогласие борется с восхищением.) В 1958 г. Милош написал стихотворение „Баллада"...» — далее в комментарии следовали отрывки из стихотворения, которое я теперь перевела целиком — см. «Новую Польшу», 2004, №9.

Но тут, наверное, надо объяснить, как и почему собственно пришла я к этой теме — не с потолка же я ее взяла, заменяя ею рассказ об Ахматовой.

В конце 1950-х — первой половине 1960-х польский язык для многих моих ровесников стал прежде всего «окном в Европу»: по-польски читали еще не изданных по-русски Кафку, Фолкнера и других европейских и американских писателей (в СССР, правда, Кафка был уже издан, но, увы, только по-эстонски). Я же почти сразу, едва научась — да и не научась еще, а научаясь — толком читать, погрузилась в польскую литературу и новейшую историю. (Конечно, нужно сделать оговорку: все, что я читала, прошло двойную цензуру: сначала издательскую в ПНР, затем — советскую при закупке товара в магазин книг стран народной демократии — он еще не назывался «Дружба». Но эта последняя все-таки частично полагалась на то, что прямой антисоветчины польские цензоры не пропустят (они и не пропускали), а издательская цензура в ПНР все же была несравнима с советской. Шли 60-е годы, и если о Катыни в Польше ничего нельзя было публиковать, то о Варшавском восстании 1944 г. — уже можно.)

Думаю, отчасти влияло польское же кино: «Канал», который мне случайно удалось увидеть во время фестиваля молодежи в 57-м году, «Покушение», да и первые польские послевоенные фильмы, почему-то не получавшиеся вполне по-советски соцреалистическими: вышеупомянутый «Непокоренный город», «Последний этап», «Запрещенные песенки»... Из фильмов конца 50-х «Настоящий конец большой войны» вышел в советском прокате под идиотским названием «Этого забыть нельзя», и никто на него не шел — не пошла и я (посмотрела много лет спустя). А название фильма знала —из польских журналов, так же, как знала по кадрам в этих журналах «Пепел и алмаз», вышедший у нас только в 1965-м, через год после того, как я прочитала роман Анджеевского,

на котором окончательно научилась читать по-польски, и за год до того, как этот роман наконец вышел в русском переводе. Дата появления романа по-польски — 1946, дата выхода фильма в Польше — 1958.

Роман — как я поняла куда позже, во многом лживый — показывал историческую обреченность главного героя, бойца Армии Крайовой, с приходом «народной власти» уходящего в вооруженное подполье. Картина — вышедшая тогда, когда АК перестали называть «шутом гороховым реакции», когда отсидевшие аковцы вернулись из тюрем, а в полусвободной оттепельной прессе встал вопрос о пересмотре роли АК и оценки Варшавского восстания, — смещала акценты: герой был обречен, да, но это была трагедия, и все чувства зрителя — советского зрителя середины 60-х — были на его стороне. Когда Мачек, молодой Збигнев Цыбульский, в финале фильма шел, точнее волочился, зажимая смертельную рану в живот, последними силами цепляясь за жизнь, за чье-то белье на веревке, оставляя на нем кровавые пятна, я корчилась, сама хваталась за живот, как будто была ранена вместе с ним. А Мачек был ровесником «двадцатилетних варшавских поэтов», бойцом АК, как они, только их трагический конец наступил раньше, и им не пришлось разбираться с послевоенной действительностью.

Одного из этих поэтов, как раз выжившего — и по-своему трагически погибшего в разборках с послевоенной действительностью, — не упомянутого Милошем в «Поэтическом трактате» (зато язвительно проанализированного в «Порабощенном уме»), я уже знала — сначала прозу, потом стихи. Тадеуш Боровский написал об Освенциме, как позже Шаламов о Колыме. То есть как никто другой. (Да только Боровского я прочла раньше, чем Шаламова.) Но Освенцим, куда он попал умышленно, вслед за арестованной невестой, спас его от гибели в Варшавском восстании. И о нем я тоже говорила в тот московский вечер, примеряя его судьбу на погибших поэтов, размышляя о том, что было бы с ними...

Но я еще не кончила о том, почему я так прикипела к этому периоду новейшей польской истории. Тут было острое — куда острее, чем в отношении более далекого прошлого, разделов, восстаний, — чувство личной исторической вины. Пусть не говорят мне, что исторической, национальной вины не существует, а существует лишь ответственность каждого за то, что он сделал или не сделал. Я отвечу, что никто не может возлагать историческую вину на отдельного человека, но если уж отдельный человек ее испытывает, сам берет ее на себя, то это его эмоции и его право. Мое право. Потому-то я написала уже в 70-е: «Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом». Варшаву — в 44-м, Прагу — в 68-м.

Но не только 44-й. Одно из моих первых детских воспоминаний: 1940 год, я уже научилась читать и читаю в газете крупный заголовок «Первая годовщина освободительного похода Красной Армии в Западную Украину и Западную Белоруссию». В свои четыре года я, конечно, и не сомневалась, что это был «освободительный поход». К 60-м годам я уж точно знала, что это не так, хотя об этом не говорилось ни в каких книгах, которые я читала. Правда, протокола к «пакту Молотова—Риббентропа» мы тогда еще не знали: в самиздате он появился в 1968 году. Но что Советский Союз напал на Польшу, сражавшуюся на западе с Германией, было ясно и без этого.

Знала я и про Катынь. Темно, смутно — но, как позже верно сказала одна моя знакомая (М.В.Розанова), чтобы убедиться в советской вине, достаточно было прочитать заключение советской комиссии, возлагавшей вину на немцев.

Ни в 1939-м, ни в 1940-м (год катынских расстрелов), ни в 1944-м я, конечно, не могла нести ответственность за совершённое руками «партии и правительства», но чувство вины — не предмет судебного рассмотрения, оно не просит вещественных доказательств, оно возникает (или не возникает)*. Вот, может быть, главный корень того, откуда взялась «моя Польша» и мой пристальный интерес к АК и Варшавскому восстанию.

И еще один отклик на статью до ее публикации, от Нины Горлановой из Перми: «В мае этого года я ездила на съезд Союза российских писателей в Смоленск, и мы были в Катыни. Все там не-

* Позволю себе привести отрывок из письма Бориса Дубина, присланного из Москвы в ответ на просьбу просмотреть эту статью: «Кстати, о памяти и вине: в нашем недавнем социологическом опросе (сентябрь 2004 г.) был вопрос о сентябре 1939 г., так вот 60% наших соотечественников вообще ничего не знали об этой дате, и только 16% смогли идентифицировать ее правильно. 60-летие Варшавского восстания прошло в России совершенно глухо, а о 20-й годовщине гибели отца Попелушко вообще, кажется, никто не вспомнил...»

остановимо плакали, жалея поляков и своих тоже (свои-то и не все похоронены). Мы раньше про Катынь знали, конечно. И про то, как наша страна предала Варшавское восстание в 44-м году».

На том московском вечере я ставила ребятам пластинки. Две. Одна из них — Эвы Демарчик. Она пела песни композитора Зигмунта Конечного на стихи польских поэтов — тот редкий случай, когда я не побоюсь сказать «пела поэзию». Среди исполняемого были «Дожди» на стихотворение Кшиштофа Камиля Бачинского и еще одна песня, называвшаяся «Стихи Бачинского» — монтаж фрагментов из нескольких стихотворений**. Обе меня заворожили. Я следила за «Дождями» по тексту, выискивала строки и строфы, использованные в «Стихах Бачинского». Впервые я начала не только глазами читать, но и действительно воспринимать иноязычную поэзию. Я ставила пластинку своим друзьям — и их тоже потрясал ее голос, ее интонация, — и пыталась пересказывать, о чем она поет.

Я стала искать все, что можно прочитать о Бачинском, о его времени, его поколении. Знаменитыми стали слова одного известного критика (Станислава Пигоня), сказанные другому (Казимежу Выке) при известии, что Бачинский вступил в штурмовые группы АК: «Что ж, мы принадлежим к народу, судьба которого стрелять по врагу бриллиантами». Сравнивая после войны Бачинского со Словацким, отмечали, что если бы Словацкий погиб, как Бачинский, в 23 года, то от него не осталось бы такого наследия. О Кшиштофе Камиле (второе имя родители дали ему в честь Норвида, автора стихов о «пепле и алмазе») можно не иронически сказать, что он и жить торопился, и чувствовать спешил. Разглядывая фотографии, я попросту влюбилась и в Бачинского, и в его такую же юную жену Барбару — тоже погибшую в Варшавском восстании: она была смертельно ранена 26 августа и умерла 1 сентября — с подпольно изданным сборником стихов мужа в руках. Сам Бачинский погиб 4 августа.

Надо сказать, что о Бачинском, как показали мои розыски (но это, пожалуй, было уже как раз когда я готовилась к своему выступлению перед школьниками), писали и в СССР. Одна статья о нем называлась «Солдат, поэт времени бурь». У Бачинского есть строка о себе: «Солдат, поэт, времени пыль», — советский славяновед, умышленно или неумышленно, перепутал «burz» (бурь) и «kurz» (пыль, прах), а чтоб было понятней, переставил запятую. Между тем эта олицетворенная в поэте «пыль времени», возвращающаяся у Бачинского и как «куж», и как «пыл» (притом на рифмах — он вообще, что странно и трудно для польской поэзии, любил мужские рифмы), сто́ит нашей «лагерной пыли».

«Дожди» в своем переводе*** я тогда читала школьникам — прямо под голос Демарчик. Но я крутила им не только Демарчик. Я принесла еще пластинку с записью спектакля варшавского Классического театра «Не приду к тебе сегодня», монтажа песен времен войны, который я видела в 69-м году в Москве на сцене Малого театра. Знающие люди потом говорили мне: «Это же мочаровцы!..» (польские национал-коммунисты, названные так по имени члена политбюро ЦК ПОРП, министра внутренних дел Мечислава Мочара, одного из организаторов и вдохновителей подавления студенческих волнений 1968 года и последовавшей за этим антисемитской и антиинтеллигентской кампании). Но московский зал видел и слышал только одно: вот они, поляки, угнетенные, но не задавленные, не побежденные. Да, конечно, в спектакле (когда что-то об этом знаешь) больше были слышны песни малочисленной Гвардии и Армии Людовой, организованной коммунистами, но где-то вдали, краешком раздавались и «Алые маки на Монте-Кассино» (уже знакомые советским зрителям по кинофильму «Как быть любимой»), в полную силу звучал аковский «Марш Мокотова» — гимн Варшавского восстания, и залихватски разливалась песня ударных батальонов «О Наталья» Вацлава Боярского. Она была посвящена невесте Боярского Халине — «Наталье» по подпольному псевдониму. Боярский, как Мачек в «Пепле и ал-

** Три стихотворения, фрагменты которых смонтированы в «Стихах Бачинского», публикуются в этом номере: «Золотой с прожилком белым...», «Из лесу» и «Когда, под ладонью брезжа, земля встает за ветрами...».

*** В печатающихся в этом номере стихах К.К.Бачинского «Дожди» приводятся в переводе Анатолия Гелескула. Мой перевод, вошедший в мою книгу «Три тетради стихотворений» (тетрадь «Дожди, и засуха, и новые дожди» — кстати та же, в которую вошло стих. «Это я не спасла ни Варшаву тогда и ни Прагу потом...»), с тех пор неоднократно публиковался (это вообще единственный перевод, который я включила в книги своих стихов).

мазе», был смертельно ранен в живот (25 мая 1943) — они обвенчались в больнице, жена оставалась возле него до самой смерти, до 5 июня. Они были еще моложе, чем Кшиштоф и Барбара. Халина Боярская после восстания осталась в живых.

«Я должен тебе показать свою последнюю песню, — сказал он мне перед самым отъездом на лечение в Закопане, — такую слегка шутливую. О Наталье».

Так приводит слова Боярского Анджей Тшебинский в статье «Воспоминание о друге». Потом друг вернулся из Закопане с готовой песней на свою же мелодию.

«Наступал вечер. Мы везли на рикше какой-то груз нелегальной литературы. Асфальт и горящие высоко, под небосводом, фонари. Он рассказывал про Закопане. Вдруг вспомнил. „Есть, — крикнул он, — могу ее тебе спеть целиком". Речь шла, разумеется, о „Наталье". Он пел вполголоса. Асфальт и фонари высоко под небом. И нелегальщина — неизвестно зачем во всем этом».

Были в том спектакле, который я увидела в 69-м году (а пластинку купила уже после 72-го, после своего освобождения) и песни на стихи Гайцы и Тшебинского****. Тадеуш Гайцы не оставил такого богатого и зрелого наследия, как Бачинский (да и был годом младше), но в его последних стихах — уже не только обещание.

Когда цветут сирени — ты принеси сирень,
Но не мешай уйти мне в прекрасный майский день.
Ты приросла мне к сердцу, приклад к руке прирос,
И я тебя с винтовкой навек в поход понес.
Припев:
Поход ударной группы и мой (и мой, и мой).
Так в солнечное утро мы песню запоем.
Землей славянской мягкой легко идти на бой —
Империя возникнет, когда мы кровь прольем!

А если будет лето — дай колос мне златой,
Как ты, согретый солнцем, горячий, налитой, —
И хоть бы не вернулся к тебе я цел и жив,
Я нес в твоих колосьях славянских запах жнив.
Припев.

**** Песню Тшебинского «Поход ударной группы» я сейчас, работая над статьей, перевела. Она далека от его собственных опытов в лирических стихах (включающих обычные стихи и стихотворения в прозе), но, может быть, отвечает его призыву заменить «поэзию слова» «поэзией действия».

А если будет осень, калины мне нарви,
Но не целуй, родная, обратно не зови.
Ты приросла мне к сердцу, приклад к руке прирос,
И я тебя с винтовкой навек в поход понес.
Припев.

Несу я на границу сирень, калину, рожь —
Из них граница будет — любовь несем, не кровь,
Граница из любови на дне солдатских душ,
Край родины ложится, где в горле сводит дух.
Припев.

В спектакле эта песня звучала (и звучит на пластинке) не совсем так. Вместо «А если будут сирени...» первой строки песня начинается — и называется — словами «А если будет весна...» (оба перевода здесь дословные). Вполне возможно, что это фольклорный вариант, где «восстановлен» полный параллелизм зачина трех первых куплетов. Естественно, не звучал и припев в его «имперском» виде, но не исключаю, что и в фольклоре этот сугубо идеологический и ненужный (даже неясный) рядовому партизану элемент пропал.

Гайцы и Строинский, по последним данным, погибли не в один день (как раньше думали): Строинский — 16 августа, Гайцы — 21-го или 22-го.

Гайцы стал редактором подпольного журнала «Искусство и нация», органа их «Культурного движения», после расстрела Анджея Тшебинского (который в свою очередь заступил на этот пост после гибели Вацлава Боярского). От Тшебинского после его страшной смерти с загипсованным ртом — он погиб, как и Боярский, в возрасте 21 года — остались стихи, пьеса, неоконченный роман, статьи, дневник. Тшебинскому — другу и политическому противнику — посвятил свой рассказ «Портрет друга» Тадеуш Боровский.

Так вот, что было бы с ними, останься они в живых? Может быть, неслучайно в спектакле, как-то связанном с «мочаровцами» (по-нынешнему говоря, «красно-коричневыми»), нашлось место мальчикам из «Искусства и нации». Некоторые их ровесники и единомышленники вполне вписались в «послевоенную действительность» (но я не знаю, легко ли, сразу ли и после каких испытаний, и поэтому не стану называть имен). Многие из них своей карьерой были обязаны Болеславу

Пясецкому*****. Один из них в 68-м году, в самое погромное время, выдвинулся на ведущее место в Союзе польских писателей, но ему же, его книге об этом поколении, вышедшей еще в 1963 г., я обязана сведениями о молодых поэтах.

«Культурный империализм», который проповедовал Тшебинский, после войны входил в неплохую смычку с имперской идеологией соцлагеря, но у кого-то его мог пересилить польский патриотизм, и тогда юноши могли уйти «в лес», воевать, выйти по объявленной для подполья лживой амнистии — и попасть в тюрьму, или не выйти — и быть застреленными в бою или расстрелянными в застенке. Мы никогда не узнаем, что случилось бы с каждым из них, но не воображать себе эти страшные дилеммы судьбы я не могу. В войну все было проще: выбор был один.

А что было бы с Бачинским?

Об этом, оказывается, думала не я одна. В 1980 г. Вислава Шимборская написала стихотворение «Средь бела дня». Привожу его в своем переводе:

В дом творчества в горы ездил бы он,
к обеду в столовую спускался бы,
на четыре ели с ветки на ветку,
не отрясая с них свежего снега,
из-за столика у окна поглядывал бы.

С бородкой, подстриженной коротко,
лысоватый, в очках и с проседью,
с огрубевшими, усталыми чертами лица,
с бородавкой на щеке и морщинистым лбом,
словно ангельский мрамор облепила глина —
а когда так случилось, и сам бы не знал,
потому что не махом, а по чуточке
повышают цену тем, кто раньше не умер,
и он тоже эту цену платил бы.

О мочке уха, задетой осколком
— когда на мгновенье голова отклонилась, —
«чертовски повезло», говорил бы он.

Дожидаясь бульона с макаронами,
газету с сегодняшней датой читал бы он,
большие заголовки, маленькие объявления,
или по скатерти барабанил пальцами,
а ладони были бы давно немолодые,
с растресканной кожей и толстыми венами.

Иногда от порога кто-то позвал бы:
«Пан Бачинский, вас к телефону!» —
и ничего тут не было бы странного,
что это он, и что он встает, одергивая свитер,
и не спеша направляется к двери.

Разговоров при виде этого не прерывали бы,
Замерши и затаив дыханье, не застывали бы,
потому что это обычное событие — а жаль, а жаль —
так обычным событием и считали бы.

Да, так и считали бы. Но «обычного события» не произошло, «чертовского везения» не было. И все мои спекуляции — на пустом месте. И все-таки думаю, что в партийные писатели он бы не попал: националистом, тем более шовинистом, он никогда не был, и идти в партию, чтобы «замаливать грехи», не было бы нужды; не был он, выросши в семье польского социалиста, и слишком левым, чтобы кинуться в объятия новой идеологии. Судьба Милоша? Сначала почет выжившему крупному поэту (вплоть до дипломатического поста), потом эмиграция? Судьба Херберта? Отказ печататься в прокоммунистических изданиях и первый сборник стихов в 56-м году? Или, как у Шимборской, тихая жизнь, с изредка выходящими книгами — может быть, с траурным панегириком Сталину, как то случилось со многими уважаемыми поэтами? А потом, в более или менее вегетарианские времена, — дом творчества в горах, в том самом Закопане, откуда Вацлав Боярский привез свою песню о Наталье? Все варианты возможны — и все, увы, невероятны.

Остается эпитафия всем погибшим — написанная тем, кто погиб позже, не вместе с ними и не от вражеской, а от своей руки. Написанное в Варшаве, в 1942-м, еще до Освенцима, стихотво-

***** Болеслав Пясецкий до войны возглавлял почти нацистскую партию «ОНР-Фаланга», во время войны возглавил на посту «коменданта» (см. упоминание в публикуемых фрагментах дневника Тшебинского) того же духа вооруженную «Конфедерацию нации», под эгидой которой находилось и «Искусство нации». В конце войны Пясецкий был арестован, но после беседы с генералом МГБ Серовым освобожден и занялся расколом среди польских католиков. Созданная им организация «Пакс» и одноименное издательство давали широкие возможности приручать людей, которых в прошлом нельзя было заподозрить в симпатиях к коммунизму.

рение Тадеуша Боровского «Песня» (перевод Леона Тоома, опубликован в: Современная польская поэзия. М., «Прогресс», 1971):

Оглохли звезды в небесах —
Язык сраженья им неведом.
Ты вспомнишь о своих рабах —
О нас, грядущая победа?

Железный лязг среди степей
И топот ног, а мы все старше.
Ревет голодный Колизей,
Илотов чествуя на марше.

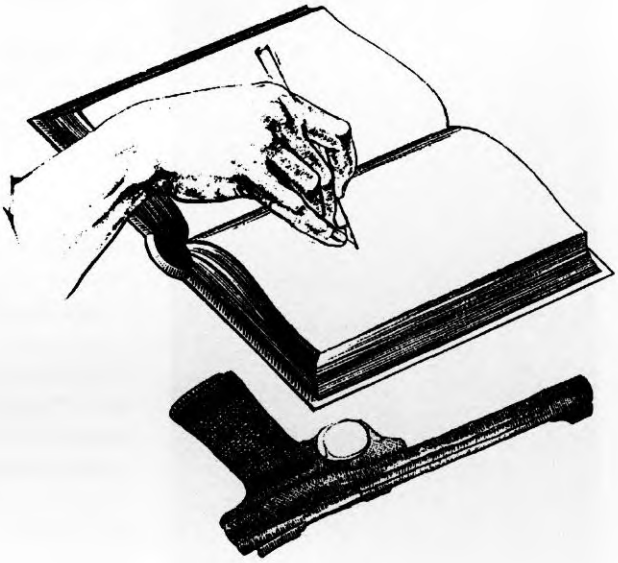
Знамена вражьи, братский зов,
И песня париев, и вера,
Фальшивый грош, кривая мера,
Качанье вечное весов.

Но остается прочность плеч:
Не зря, не зря мы топчем камни,
Не зря в бою сжимаем меч
Окровавлёнными руками.

Не зря — опять навылет грудь
И смерть с недвижными глазами:
Илот опять выходит в путь,
Пока торгаш гремит весами.

Как труп на поле боевом,
Лиловы небеса в потемках.
Что мы оставим? Ржавый лом
И смех язвительный потомков.

Автор благодарит Бориса Дубина и секретаря редакции «Новой Польши» Элизу Вольскую за помощь в розысках перевода стихотворения Т.Боровского и оригинала стихотворения В.Шимборской. А также Александра Бондарева, который просмотрел первый, невероятно разбухший вариант статьи, посоветовал, что и как сократить, где и что поправить, и напомнил о стихотворении Боровского.



Перевод Владимира Британишского

Тадеуш Боровский

ПОГИБШИЕ ПОЭТЫ

Вы сожжены, вы расстреляны, вы безмолвны,
мои товарищи юности, я пишу вам.
Текут и текут над вами земные волны,
шумят — зеленым шумом.

В темных земных пучинах полузамерзших
пусто, недвижно, немо в загробном мире —
где же такая боль, чтобы губы мертвых
заговорили?

Ночь, над стволами, из вас растущими, высясь,
вихрем шумит, будто все же еще зачем-то
ваши уста, на которых земля да известь,
слов ищут тщетно —

Поздно уже, слишком поздно связанным крепко
руки заламывать в бурях неугомонных.
Тщетно живых вы зовете в выкриках ветра,
в горестных стонах.

Тщетно, все уже тщетно. Вихрь клубится заблудший,
зовет травяная глубь, лугов замогильных зелья,
дальше иду, под землю, глубже и глубже,
к вам в подземелья.

Поздно уже, слишком поздно. И я умолкну,
мину, кану в забвенье. В мертвых зеницах
деревья колышутся, с иволгами, а волны
ослепших земных потоков будут струиться —

И мы, привыкнув к папоротниковым корневищам,
к корням берез, к гущине малины дичайшей,
плывем, умолкнув, куда? и чего мы ищем?
дальше, дальше — —

Dymitr Kismielow

Антология польской поэзии XX века. Сост. и пер. Н.Астафьева и В.Британишский. СПб, 2002)

Кшиштоф Камиль Бачинский

СТИХОТВОРЕНИЯ

МОЛИТВА (I)

Плетями — руки, бденья — прахом!
И что могу под этим небом,
где черен дым и глухи орды
гонимых голодом и страхом?
Не утолен ни сном, ни хлебом
и брошен Господом, как мертвый, —
что я могу под этим небом?

Не именуй по-человечьи:
мне очи выело позором,
и зло горит на мне печатью,
а мир не садом дышит — мором,
и плаха ждет, а не объятье.

Не именуй, но в Божьем слове
сомкни уста мои, даруя
хоть песню, чтоб не гробовую,
хоть шлем, чтобы не залит кровью.
Не пресвятивши в адской печи,
не именуй по-человечьи.

Лиши плетей, что камень ранят,
и прежде чем нездешней силой
сдерешь песок, приросший к векам, —
чтоб не чернеть лицу могилой,
когда оно в Тебе предстанет,
дай хоть погибнуть человеком!

Июль 1942

Перевод ***Бориса Дубина***

СНОВА ОСЕНЬ

И вот уже осень. Птицы как будто руки —
прощальные руки неба — над злою землей.
Заплачемте, ах, заплачем, пока не стали золой
мы, грустные, одинокие, не названные при свете.

Уже сатана или Бог показал нам и кровь, и сталь
в городах, над которыми медленный дым —
будто усталый ангел над колыбелью смерти.

Уже этот нож прижатый в самое сердце врастал,
так долго он был у груди, а развалины говорили,
и каждое мертвое дерево тоже пело:
«Обернешься — и в прах обернешься, беспечное тело».

«Хоть что-нибудь есть, кроме тьмы?» — спрашивали мы плача,
плача в мертвой столице, поруганной и безмолвной,
и мы стояли во тьме, и не встретились наши руки,
а взгляды были видны только при свете молний.

И только ветер гремел на могилах последних улиц,
и бессильные вьюги садились скалам на плечи,
и мы были будто сумрачные, неверные речи,
и мир соскальзывал с век, как звезда или как слеза.

Как землю узнать глухую? и как назвать континенты,
где полумертвые дети, как полусонные старцы,
уже забывают слова, еще не поняв значенья,
и страны, где никогда не услышишь речи,
и руки, все до единой — словно морозные клещи?

И вот уже осень. Деревья шумят и плещут,
снасти умершего дома, крылья умершего сна,
будто и не они встают над разрубленной головою,
будто и не было сотен растоптанных рук.
И рядом идет человек, ах, человек ли? глаза не видны —
так — обожженный ствол, снова забывший небо, —
и на гнилой соломе кричит, отгоняя сны,
когда к нему ангелы входят и ждут — молчаливы, грустны.

12 сентября 1942 г.
Варшава

Перевод ***Георгия Ефремова***

ДОЖДИ

Седые стебли, серый шум в окне,
а с улиц тянет горестью и смертью.
Твой дождь любимый — об одной струне,
желанный дождь, подобный милосердью.

Все дальше поезда и долог-долог
их путь — не твой? ну что ж? не твой —
к озерам слез в осенних долах
с остеклянелою листвой.

И стоит ждать? И ждать ли стоит?
Дожди — как жалость, в них и канем,
и кровь и человека смоет
и воздух, вымощенный камнем.

Анджей Тшебинский

Перевод
Натальи Горбаневской

ИЗ ДНЕВНИКА

От переводчика: *Эти несколько отрывков взяты из того дневника Анджея Тшебинского, который он вел в последние полгода своей жизни (как пишет публикатор, он всюду носил его с собой, и на первой странице в конспиративных целях было написано «Дневник 1937 года»). Публикуемым отрывкам, связанным со смертью Боярского (9, 11.12), предшествуют записи о разгроме подпольной группы в Варшаве, аресте связной Тшебинского Ивоны (о ней см. в тексте), гибели связанного с Тшебинским сельского командира. Два последних публикуемых отрывка (108-109) — вообще последние записи в дневнике. 109 — единственный во всем дневнике датированный — 23 октября 1943. Видимо, после этого Анджей больше не носил дневник с собой повсюду, и только поэтому тетрадь сохранилась.*

Ноябрьский номер «Искусства и нации» открывался траурным объявлением:

«Незабвенный Станислав Ломень [подпольный псевдоним Тшебинского], редактор „Искусства и нации", пал на службе польской культуре, расстрелянный на улице Варшавы 12 ноября 1943 года. Смерть его трудно заключить в слова, нам остается внутренний наказ проведения в жизнь его мыслей».

Читатель заметит, что в траурное объявление полностью вошла формулировка «пал на службе польской культуре», о которой Тшебинский пишет (см. в тексте дневника) как о части некролога себе, не написанного, но рассказанного ему — планировавшегося «на всякий случай» — еще живым Боярским. И хотя понятно, что вышеприведенный текст писал кто-то третий, можно предположить, что эти слова — полу в шутку, полувсерьез — не раз повторялись

Анджей Тшебинский

в кругу этих юношей, каждый день ожидавших смерти. Своих друзей и своей собственной.

9. Естественно: это переживешь, всё вообще, за исключением смерти, — переживешь, но как же в конце концов выйдешь! Кем выйдешь? Когда прожиты такие дни, такие эпохи в несколько дней, и без единой мысли под черепом. Чад, осевший на кости. Чем в это вглядеться? — никакая мысль сюда не проникнет, — эпохи, целые дни призывания мысли. Что-то надо понимать. И ничего. Совершенно ничего. Только ночью не спишь и работаешь. Как обычно, якобы. Только с лица, темного, тяжелого, позволяешь ускользнуть улыбке. Что значит эта улыбка? Ничего. Знак. Попытка. Может, они это как-то поймут, может, как-то отзовутся, и уже не другой, своей собственной и в результате бессмысленной улыбкой, но — мыслью. Может, они в конце концов что-то подумают. Нас хватает на темную, незавершенную улыбку. Попросту брошенную...

Эти дни! Сна в глубоких креслах, населенных враждебными мне людьми. Или чужими, не враждебными. Такой жары. И во всем этом сознание угасания Вацлава. В жар-

Все ждешь ты, бедное надгробье?
А беглых лет письмо косое
с лица сплывает исподлобья
не то дождем, не то слезою.

И что любовь, да не такая,
и что слеза, и та впустую,
и что одна вина другую
опережает, окликая.

И что удар не тронул тела,
а лишь заглох, как птица в поле,
и лишь душа осиротела,
как от видения в костеле.

растет во тьме стеклянный шорох —
и отплывает мир окрестный.
Уносят дальше все, кто дорог,
чужую долю ноши крестной,
еще кого-то недостало,
еще одна невозвратима, —
прильнут к окну как из металла
и вновь, неузнанные, мимо...

И дождь уносит, дождь их косит
косой холодной и немою.
Покроет тьмою — смоет тьмою.
Плесну рукой в колодце мрака,
над темными ключами стоя,
и молча стыну, как собака
под плетью голоса пустою.

И не прикончен, и не начат,
и не добит, и не обласкан,
не знаю — дождь, душа ли плачет,
что все для Господа напрасно.

Стою один до ночи поздней.
Лишь я и ночь. И капля, капля —
все отдаленней, все бесслезней.

Оконч. 21.11.43 г.

Перевод ***Анатолия Гелескула***

ДВЕ ЛЮБВИ

И вот полюбил ты хрупкое, теплое тело,
что песнь соловьиную запечатлело
иль молоко в стеклянном стройном кувшине;
и скрипки грусть, и хор листвы — для этих линий.

Ты полюбил и ставишь перед собою
ручья теченье голубое,
чтоб два лица слились в одном движенье:
и подлинное твое, и отраженье,
укрыли землю огнем, небо — жасмином,
хотя и тесно им в сердце едином.

И землю ужаса ты полюбил тоже
с огненными следами шагов Божьих,
землю, где братья гибнут под огнепадом,
где смерть и величье точно два грома — рядом
стоят и крыльями бьют, ибо видят диво:
тех, что мертвы, и тех, что живы.
Еще полюбил ты речек путь серебристый,
и белые перышки мазовецкой Вислы:
и горы, сошедшие нá землю как тучи,
и людей в неволе — ты с ними тут же.

Когда раскаленная сабля с тобою,
а ты — в ураганах последнего боя,
когда в оружье как в жизнь верится
и нету слез на лице и в сердце, —
как пушинку, как песню бросаешь тело,
бросаешь лицо, что в ручей глядело,
чтоб стало единым, — не в тиши отраженным,
а смерти черным крестом клейменным;
ты знаешь — от Бога эта любовь досталась,
для которой в могиле молодость промечталась.

22.V.1943.

Перевод ***Марии Петровых***

* * *

Золотой, с прожилком белый
расколю я небосвод,
пред тобой орехом спелым
лопнет мир и оживет
пеньем вод, листвой шумящей,
птичий свист возникнет в чаще,
млечное ядро рассвета
и восход.

Ты увидишь превращенье
твердой почвы в мягкий луг,
из вещей добуду тени,
чей кошачий ход упруг,
тень оденет шерстью мглистой
цвет грозы,
сердечки листьев,
ливнем станет вдруг.

кие дни — угасания. Я уже не видел его после того дня. Он был тогда такой естественный, обычный. Только то, что он говорил, было тревожно. Всею силой он искал своего стиля. Но этот стиль состоял в принудительном веселье, в кипении страстей... Уже в силу самого контраста прежних, «стильных» его слов, выговариваемых так слабо, — это выглядело страшно. Жена откинула одеяло. Целая половина тела в каких-то кровавых, разбухших от крови лоскутьях. Она поднимала их целыми пластами. Волосы были откинуты назад, он лежал скрючившись, неровно. В тот день, Боже, — все эти утренние поиски его, поиски его, эта боль и этот избыток воображения. А он в то самое время венчался с ней! Почти дословно на фоне смерти. (...)

11. Угасание Вацлава нашло конец. Нашло, потому что свою смерть надо именно отыскать, найти, ищешь ее еще до того. Он знал об этом лучше всех. Смерть по отношению ко всей этой бурной и неутолимой чудесности жизни — всего лишь наш приход к пристани обыкновенности. Мы совершенно естественны, как только перестаем существовать. Ты чувствовал это сам, друг мой. Ex post.

Я не пожал тебе руку, мой покойный друг. Между нами не закончилось просто. Там, где есть место дружбе, обычно нет места простоте. Не знаю, ты, может, вообще не назвал бы это дружбой. О, ты же не был таким обыкновенным, простым человеком, и у меня тоже были амбиции не быть простым человеком. Я искренен, Вацлав, у меня болит множество ран — поэтому я искренен. Ты ушел слишком таинственно, дорогой мой, слишком запутанно. Видимо, берег, к которому тебе было велено пристать, должен был полниться запутанностью. Скажи, видел ли ты в контуре этого берега — контур лика Его Самого? Ты же должен был видеть тогда удивительные и страшные вещи. Речь идет, видишь ли, о том, что так трудно и так больно одновременно, так не по-университетски учились мы нашей жизни, что теперь, когда ты научился и смерти, я тебя спрашиваю, дорогой мой...

Видел ли ты тогда — Бога?

Я искренен, Вацлав, и пишу это, ибо знаю, что ты есть. Мы суть — по-прежнему, оба. Это никем не должно быть прочитано. Это выглядит безнравственно и может оскорбить — такое прощанье с единственным другом. Но когда-то мы друг друга чуточку любили, потому что оба любили некий оттенок цинизма, и я верен этому теперь, как и ты сам, даже тогда уже, в больнице. Тебе можно теперь писать всё, потому что тебя нет в живых, потому что ты можешь смотреть на меня иначе. И я могу — нас, дорогой, не разделяет эта бурная и неутолимая жизнь. Между нами — спокойствие и хорошее настроение. Ты умер. Если бы вместо тебя умер я, если я еще умру — будет, было бы то же самое.

Знаю, тебе всегда импонировало, дорогой мой, умиранье человека. Так же, как мне еще — несмотря ни на что — импонирует. Не знаю, насколько остро ты видел все в последний час. Тебе, кажется, было трудно дышать, дорогой. Но я знаю остроту зрения в минуту перед сном. Ты тогда, должно быть, очень много знал. Познал ли ты уже Бога? Ты все узнавал первым, немного раньше меня. Первым познакомился с комендантом, чем гордился. Первым познал Бога. Но меня тогда — всегда — как призрак — преследовала амбиция догнать тебя во всем. Не знаю... Догоню тебя и в этом.

Я обязан очень много обещать тебе, Вацлав. Одного меня на это хватит. Других хватит только на страдание. Нет, я не страдаю. Не умею. Уже не умею. Видно, жизнь нередко нас больше отучает, чем учит. Сегодня боль я испытываю уже только как форму усталости. Какая-то лишающая воли усталость всего, что в нас есть. Что во мне есть.

Я искренен. Не страдаю. Я обязан тебе за это очень многое клятвенно обещать. Но не сделаю даже этого. Не понимаю я тут себя, не знаю, Вацлав. Знаю только, что есть такой факт: никакой клятвы, никакого обещания.

И поток, воздушный, рея,
как над райским кровом дым,
станет длинною аллеей,
запахом берез хмельным,
и струной виолончели
дрогнет пламя повители,
пчел крылатый гимн.

Вынь из ока мне осколок —
образ дней, где боль и страх,
черепа белеют в долах,
кровь алеет на лугах,
отмени же время злое,
рвы укрой волной речною,
сдуй с волос мне пыль и порох,
дней отпора
черный прах.

15.VI.43 г

Перевод ***Александра Ревича***

С ГОЛОВОЮ НА КАРАБИНЕ

Круг сжимается, узкий и тесный —
слышу я в предутренней рани,
хоть крещен я в купели небесной
и поток обточил мои грани,

хоть меня через реки и кручи
переправила, пусть не без риска,
ветка дикой сирени и тучи
улыбались мне по-матерински.

С каждым днем, с каждой ночью все ближе
этот круг, нас за глотки хватая,
а когда-то для нас колосилась
нива тучная и золотая.

Голубиная юность хлестала
из меня и срывала ворота.
На дне смерти теперь вырастаю,
дикий сын своего народа.

Круг ножом рассекает, раня,
срежет день он, и ветер минет,
и просплю я время ваянья
с головою на карабине.

Занесенный событий порошей,
пополам разодранный кругом,
как гранату, я голову брошу,
лихолетьем загнанный в угол, —

оттого что жилось несмело,
а смелел, когда пахло кровью.
Гибну там, где величье дела
неразумной любил любовью.

4 декабря 1943 г.

*Перевод **Бориса Слуцкого***

СКАЗКА

Шли к рассохшимся палубам люди,
шли с оружьем и были грустны.
небо звонче серебряной лютни
откликалось дыханью весны.

Позади различали на судне
крестный ход или, может, рассвет.
Мудрых лип терпеливые будни
щебетали по-птичьи вослед.

А моря друг на друга кидало,
жесткой шкурою терлась вода,
что-то брезжило и пропадало
через миг или, может, года.

Звезды жались к воде, как голубки.
И с борта к ним тянулись рукой,
глядя вниз, в непроглядные глуби,
с той улыбкой — ты знаешь, какой.

Распахнув побережья вратами,
звали горы в зенит голубой.
В глубь небес они камни метали,
чтобы смерить ее под собой.

На заоблачном сеяли рейде
семя леса над зыбью морской,
золотыми деревьями бредя
с той улыбкой — ты знаешь, какой.

И листвой их виденья оделись,
и дубняк расшумелся рекой, —
словно в сердце свое загляделись
с той улыбкой — ты знаешь, какой.

Нас поглотит история. Молодых, двадцатилетних парней. Мы не будем Мохнацкими, Мицкевичами, Норвидами своей эпохи. Мы могли бы быть Рембо, но это мы отвергли, потому что шли дальше. Мы хорошо понимали друг друга, очень хорошо. Ты думал о себе как об исторической фигуре. Я тоже. Мы не были особым образом для истории позированы, нет, ведь наш жест должен был возникнуть естественно, просто — как тень наших деяний.

Почему я тебе ничего не обещаю, дорогой?

Ах нет, обещаю. Просмотрю твою ненаписанную драму, тот первый акт, о которым ты думал тогда, возле Коперника, уже раненный. Просмотрю бумаги, которые остались от того короткого, бурного пожара, каким была твоя жизнь. Да, я рассчитывал — тебе предстояло просмотреть после моей смерти то, что от меня, как пепел от пожара жизни, осталось. Ты достиг смерти раньше, впереди меня.

Может, я ее достигну иначе, в поле, с оружием в руках. Позже, чем ты, но зато моя смерть — моя, а не твоя — станет символом нашего общего искусства, мысли, культуры? Символом смерти современного художника. Художника Империи.

Умирается очень легко, легче, чем ты, — от пулеметной очереди. Я пишу это отчасти как письмо тебе. Мне не везло в письмах, в переписке с тобой. Ты не получил — хоть я тебе и писал — ни одного. Да и этого тоже...

Не знаю, как это будет позже. Буду ли я о тебе думать. Знаю только, что мы очень близко друг к другу, что я в любой час могу догнать тебя одним прыжком, одной пулей в затылок. Поэтому не прощаюсь с тобой патетически. Так только, как каждый день. Как вечером каждого дня, когда мы заканчивали наши «циничные» рассказы о жизни. Ну да — только так, ничего сверх этого: привет. Привет, дорогой...

12. Ты умер, дорогой мой, взаправду, и я знаю, что меня ждет то же самое в моей смерти, не сон, не страдание, не образ умиранья, а оно само, само умирание. Настоящая смерть.

Я немного боюсь, что вопреки освоению с этой мыслью могу тогда несколько осрамиться. Что не умру так надежно, так безоговорочно, так крепко, как сегодня обещаю это себе. Что через сердце в такой миг может пролететь тень. Неизвестное. Удивление невыразимое, лишь ощущенное, безграничное, бездонное, такое только, какое бывает, когда увидишь Истину.

Но ведь и перед нашими авторскими вечерами нам случалось дрожать. Помнишь? И мне, и тебе. Потом мы преисполнились цинизма и перед этим: это опять-таки не было таким грозным, таким нервирующим.

Смерть — единственный и трудный авторский вечер. Помоги мне, умерший друг, в этот час. В эту секунду опасную. Отними у меня дрожь и дай гордость чувства...

Очень много вещей пропало, Вацлав, — в общем-то все было еще в нас, между нами. Столь ничего, столь до смешного мало — за нами.

Но я удивляюсь и пожимаю плечами, когда мне говорят: это любой ценой не должно погибнуть, пропасть, это нужно как-то...

Только раз за последнее время я употребил слова «любой ценой» — полностью это понимая. Раз, то есть тогда, когда посылал Ивоне в тюрьму приказ молчать: «Вы должны молчать любой ценой. Обо всем». Не очень, однако, знаю, не умолкла ли она в результате навсегда или еще жива. Были, говорят, массовые казни. Тогда — с Ивоной — я это понимал.

Но теперь не понимаю. Не понимаю. Мне очень больно, но я и взаправду не понимаю. Даже себя самого теперь... Вацлав дорогой, помнишь, как весело ты обещал мне перед моим планировавшимся уходом на ударную операцию прекрасный некролог в «Искусстве и нации». Помнишь ту нашу циничную радость, ту простоту? Некролог. Какой, Вацлав? Такой общепринято скудный, простой, по-мужски сухой, черный — и ничего больше? Редактор «Искусства и нации», второй редактор, пал от вражеской пули на посту, на службе польской культуре? Да, и ничего больше, Вац? (...)

Ну, а плотник поглядывал в оба,
чтобы каждому сладить свое —
им душистые доски для гроба,
а сыновьим ладоням — дубье.
И ушли. Пело время иное.
И ушли в белый дым пеленою
с той улыбкой — ты знаешь, какой.

23.VI.44 г.

*Перевод **Анатолия Гелескула***

ИЗ ЛЕСУ

Как шум озерный, ночные пущи.
По мхам ступаешь, как по волне.
Колонны мрака растут все гуще.
Встревожил дали во тьме гнетущей
зловещий возглас как бы во сне.

Повозки, люди текут рекою,
во мгле туманной то там, то тут
оружье звякнет, а под ногою
вздымает волны земля, как море,
и отголоски ползут в просторе,
они тревожны — чего-то ждут.

Стройные парни. Ясные лица.
Сила подземная, темная сила
сушу ломает, золото вскрыла,
в панцире тесном земля томится,
рвется наружу, гудит, гудит.

Ясные лица! Круг окоема
накрепко схвачен клещами армий.
Как же ценою муки и крови
выкупить землю, милые парни?

Можно любить, но любить — это мало,
можно погибнуть — явишь лишь слабость,
юное тело в битве устало,
а сила темная все гудит.

Пуща все гуще. Пространство вбирает
пастью огромной все на земле.
Это — как будто сын умирает,
это — как будто отец остается.
Прошли, исчезли. Дым только вьется.
Возглас зловещий во мгле, во мгле.

27.VI.44

*Перевод **Александра Ревича***

* * *

Когда, под ладонью брезжа, земля встает за ветрами
и реют большие птицы над облачною куртиной, —
беззвучно редеет сумрак. И вот, прислонившись к раме,
горит она заряницей и песенку напевает.

И лентою издалека плывет ее теплый голос,
доходит к нему в потемки и шепотом овевает.
«Родной», — не смолкает песня и над головою кружит,
звенит волоска нежнее и так фиалками дышит,
что он, наклонясь над смертью и стиснув рукой оружье,
встает, запорошен боем, и — сам не поверив — слышит,
как в нем запевают скрипки, и медленно, осторожно
идет по лучистой нити пучиною тьмы кромешной,
и вот она рядом, нежность, как облако, белоснежна, —
и полнятся ею дали, и над тишиной тугою
один только голос нежен и близок — подать рукою.
«Родной» — не смолкает песня, и обнят он так приветно,
так сильно, как не обнимут, лаская всего лишь тело.
Ладони возводят землю за черным заслоном ветра,
и скачут по ним зверята, чертясь паутинкой белой.
И разливается утро. Заждавшийся холод стали.
Безмолвье с гадючьим свистом клубится у изголовья.
И сон обрывают слезы: винтовки загрохотали,
а снилось им, что зачали дитя, залитое кровью.

13.VII.44 г.

*Перевод **Бориса Дубина***

108. Тревожное время. Акции и реакции. Казни групп по 20 человек на улицах города. Отсутствие Лавинской. О ней ничего неизвестно.

Понемногу пишу роман. Снова бываю у Анны. Быть может, это неверно. Как-никак, а я люблю эту женщину и думаю, что поведение в таких обстоятельствах — верное — не всегда можно бы назвать верным. Денег я лишен. Вообще отрезан от нормальной жизни. Потерял надежду хоть на какое-то жилье. Несмотря на это чувствую себя в хорошем настроении — это не настрой осеннего опадания, страх!

Если бы не тревога, которую я испытываю за Магдалену [подпольный псевдоним сестры Тшебинского], Анну и еще нескольких человек, — это был бы самый спокойный период этого года — пожалуй...

Не хватает мне, кстати, времени писать здесь. Пишу — дальше — свой роман.

Дня 23.10.43

109. Три или четыре дня подряд бывал у Анны. Последнюю ночь даже провел у нее. Отстраивается снова — уже перечеркнутая — «проблема» Анны. Быть может, я ее люблю, и не следует от этого отпираться — но все же мы не должны видеться слишком часто. Писателю, художнику нужно много одиночества, чтобы творить. Одиночества или холода. Тепло убивает творца в человеке, острый контур мира расплывается в зеницах.

Переводы К.К.Бачинского приводятся по изданию: Кшиштоф Камиль Бачинский. Стихи. Пер. с польского. [Сост. и предисл. А.Гелескула]. М., «Худож. лит.», 1978.

Перевод
Андрея Базилевского

Тадеуш Гайцы

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ УЙТИ

Страна моя вся седая,
затянута мглой осенней,
но прежде чем попрощаюсь,
махнув рукой из траншеи,
но прежде чем соглашусь на
венец из липы терновой
и в безоружное сердце
тьма мне вонзится снова, —
пусть молнии плач беззвучный
в вечность меня призовет,
я пальмой овею тучи,
я лбом пробуравлю лед.

По мертвым костям шагая,
стужу с огнем смешаю
на зависть звезде, что пылает
над горящей моей головой,
верну я любовь и юность
невинным снам человека,
над которым склонились
ангел, ослик и вол.

Как птица в дыму, сквозь пламя
пройду босыми ногами,
чтоб под сгоревшей березой
похоронить муравья —
Брошусь ладонями в воду,
чтоб не вспыхнула кожа,
когда под крестом
буду я.

* * *

И вот я здесь – и всё нипочем мне,
я крупней стрекозы, но до чего ничтожен
на фоне струйки дыма, как спичка тонкой,
над моим малиновым домом.

Солнце за мной, убогим, гонится по пятам,
неотступно и верно,
а небеса, как открытое веко,
печально меня искушают: останься!

Порог не пускает из дома — челюсти стиснул:
только тут — заявляет — будь,
как я, мертвым и неказистым,
хотя во мне тоже есть — и света, и ночи суть;

тебе не справиться с дерзким делом,
слышишь: сердце ёкает злостно,
останься — пусть празднует тело,
хоть у грома и кровь на деснах,

и других он упрямо баюкает,
но смотри — вон забрезжил свет
над планеткой, такой малюсенькой,
колеблемой сонным ветром.

Месяц белым крылом ударяет,
дом пресветлый на крутизне:
твоя родина — сон без края…
Тяжело умирать во сне.

Здислав Строинский

Перевод
Андрея Базилевского

* * *

Снились атаки, стаи флажков,
желтые лычки, солдатики... Здорово!
Радуга песен над кронами снов —
поэзия на острие восторга.
Ветер в рощах пел о пехоте.
Эх, уланы, уланы —
эх, полями, лугами.

Польша! Сабель серебряный визг,
танки да пушки на крыльях мифа,
орлы окровавленные у границ
могильным пожаром взметнулись лихо.
И только крестьяне, застыв у ворот,
оплакали польского войска уход —
Прометеи, к скале отчизны
прикованные
пожизненно.

А мы, заблудшие птицы, вырванные из гнезд,
дождиком слабых шагов меряли боль отступления
и в лохмотья мундиров пеленали предчувствий тоску,
смерзшиеся, как лед, в пафосе поражения,
затерянные в закатах своих тернистых дорог,
из тишины полей, зарастающих вереском,
шли на Восток.

Родину поднимать, кое-как семеня, —
бессмысленное страданье.
Мы избежали смерти, веру в себе сломав,
и вот — все еще ждем смерти, как подаянья,

ноги калеча на развалинах арсеналов, —
польские пилигримы в аду грядущего дня.

Виктор Кулерский

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

• «Новая Польша» выходит уже пять лет! Главный редактор проф. Ежи Помяновский: «Если мы чем и хвалимся, так это свидетельствами предприимчивости, от которой поляков не успели отучить, примерами бескорыстной человеческой солидарности и жаждой знаний, благодаря которой польская молодежь по праву может считаться надеждой Европы. Если мы чего и не хотим, так это продолжения анахроничных отношений сюзерена и вассала, разрушающих экономику обеих сторон политической алчностью, — наглядным примером может послужить зависимость Польши от поставок [российского] газа. Если мы чего и желаем, так это возможности показать нашим читателям примеры польского и российского великодушия, благоразумия, взаимной доброжелательности». (*«Жечпосполита», 2-3 окт.*)

• Крупнейшими достижениями 15 лет польских преобразований поляки считают: вступление в Евросоюз, свободу слова и передвижения (по 45%), вступление в НАТО (36%) и переход к демократии (27%). В числе самых крупных неудач они чаще всего называют высокую безработицу и коррупцию. По мнению опрошенных, самое большое влияние на события минувшего пятнадцатилетия оказали: Папа Иоанн Павел II (78%), Лех Валенса (60%), Яцек Куронь (39%), Александр Квасневский (32%), Тадеуш Мазовецкий и Лешек Бальцерович (по 24%). (*«Жечпосполита», 13 сент.*)

• Согласно расчетам центра «Ипсос-Демоскоп», индекс потребительского оптимизма, определяющий настроения потребителей по 200-балльной шкале, вырос на 6 пунктов и достиг высочайшего с 1999 г. уровня 88 пунктов. По мнению авторов исследования, это не случайный скачок, а начало постоянной тенденции. У потребителей нет никаких сомнений: польская экономика развивается. Высокая оценка экономической ситуации означает, в частности, бóльшую склонность к покупкам. Однако будущее рисуется в еще более радужных тонах. (*«Жечпосполита», 21 сент.*)

• «Можно рискнуть сказать, что в Польше наступил положительный перелом в настроениях. Отчасти потому, что нынешнее правительство кажется гражданам немного более вменяемым, чем предыдущее; отчасти потому, что вступление в ЕС начало приносить многим крестьянам неожиданно крупные выгоды; отчасти потому, что люди слышат хорошие новости (...) А отчасти, возможно, и просто потому, что люди хотят жить лучше». (*Богумил Люфт, «Жечпосполита», 21 сент.*)

• Согласно последнему отчету Всемирного банка, Польша входит в группу десяти государств, которые быстрее всего проводят реформы, создающие основы для свободы экономической деятельности. По мнению авторов отчета, следует ускорить дальнейшие реформы. Благодаря этому годовой темп роста польской экономики может составить не 6, а 8%, что значительно уменьшит безработицу. Год назад у Польши не было никаких шансов оказаться в десятке самых эффективных реформаторов. (*«Жечпосполита», 25-26 сент.*)

• Согласно отчету вашингтонского Международного финансового института (IIF), ростом интереса иностранных предпринимателей Польша обязана прежде всего вступлению в Евросоюз. На протяжении последних нескольких месяцев многие инвесторы внимательно наблюдали за Польшей. Они хотели узнать, как страна справится с проблемами, вытекающими из выхода на общий рынок. Когда после 1 мая опасения не подтвердились, они всерьез заинтересовались Польшей. «Теперь вы станете свидетелями постоянного притока капитала в Польшу», — сказал президент «Дойче банка» Йозеф Акерман. *(«Жечпосполита», 6 окт.)*

• В 1994 г. стоимость прямых инвестиций польских фирм за границей составляла в общей сложности 461 млн. долларов; в 2002 г. — 1453 миллиона. (*«Ньюсуик-Польша», 19 сент.*)

• По данным Государственной трудовой инспекции, каждый второй проконтролированный предприниматель запаздывает с выплатой зарплаты. Задолженности по зарплате были выявлены в 56% проконтролированных фирм. В 2002 г. таких фирм было 68%, а в 2003 г. — 62%. (*«Жечпосполита», 7 окт.*)

• По мнению Высшей контрольной палаты (ВКП), государство так часто изменяет налоговые правила, что бизнесмены перестали относиться к ним всерьез. Это был очередной призыв ВКП к стабилизации налогового законодательства. В тот же день финансовая комиссия Сейма приступила к работе по установлению налогов на будущий год. Депутаты снова обещают большие изменения. (*«Газета выборча», 6 окт.*)

• Впервые за последние три года в Польше менее 3 млн. безработных. «В середине сентября работы не было у 2995 тыс. человек», — сообщил вице-премьер Ежи Хауснер. По его мнению, к концу сентября уровень безработицы будет составлять менее 19%. В июле он составлял 19,3%. (*«Жечпосполита», 23 сент.*)

• 85% молодежи получают образование в школах, дающих аттестат зрелости. В 1989 г. каждый второй школьник с неполным средним образованием шел в трехлетний техникум. Теперь такую модель образования выбирают лишь 15% молодых людей. (*«Жечпосполита», 13 сент.*)

• В 1989-1990 учебном году в Польше было 378,4 тыс. студентов — теперь их 1,8 миллиона. За это же время число вузов возросло с 98 до 377. Коэффициент охвата высшим образованием молодежи в возрасте от 19 до 24 лет повысился с 9,8 до 34,5%, а вместе со старшими студентами составляет целых 45,6%. Если прибавить к этому рост интереса поляков к другим формам образования, посещение языковых и компьютерных курсов, рост числа людей со средним образованием, то неизбежно напрашивается вывод, что за последние 15 лет Польша стала совершенно другой страной. (*Роберт Костырко, «Жечпосполита», 8 окт.*)

• Правительство создало Национальный стипендиальный фонд, выделив на помощь учащимся 258 млн. злотых. (*«Тыгодник повшехный», 10 окт.*)

• В бюджете на будущий год правительство предназначило на детское бесплатное питание 300 млн. злотых. Это почти в два раза больше, чем в текущем году. По оценкам специалистов, в Польше около 2 млн. детей испытывают недостаток в питании. В 2002 г. число детей, получающих бесплатное питание, достигло миллиона. (*«Политика», 2 окт.*)

• С 1 мая каждое яйцо, поступающее в продажу на территории Польши, должно иметь соответствующий штамп. 1 — куры свободно гуляют по двору, питаются искусственными кормами. 2 — куры не покидают курятника, питаются искусственными кормами. 3 — куры сидят в клетках, питаются искусственными кормами. 0 — куры с экологической фермы (ходят по двору, спят на насесте). За правильностью нанесения штампов на яйца следит Инспекция торгового качества сельскохозяйственных продуктов. (*«Газета выборча», 16 сент.*)

• В подготовленном ЦИОМом рейтинге доверия к политикам первое место традиционно занимает Александр Квасневский с 63%. За ним следуют: Лех Качинский (50%), Марек Боровский (47%), Юзеф Олексы (44%) и Дональд Туск (42%). (*«Газета польска», 6 окт.*)

• Дональд Туск («Гражданская платформа) и Лех Качинский («Право и справедливость») — самые серьезные кандидаты на пост президента. Согласно опросу газеты «Жечпосполита», Туска поддерживают 19% избирателей, а Качинского — 18%. Третье место с 17-процентной поддержкой занимает лидер «Самообороны» Анджей Леппер, а четвертое — Марек Боровский из «Польской социал-демократии» (16%). (*«Жечпосполита», 28 сент.*)

• Согласно опросу ЦИОМа, в октябре «Гражданскую платформу» поддерживали 27% поляков, «Лигу польских семей» и «Право и справедливость» — по 14, «Самооборону» — 12, крестьянскую партию ПСЛ, «Унию свободы» и «Союз демократических левых сил» (СДЛС) — по 6, «Польскую социал-демократию» — 4%. (*«Газета выборча», 9-10 окт.*)

• Тадеуш Мазовецкий: «Общество сторонится публичной жизни и политики, уже не связывает никаких надежд с политическим классом, который по одну сторону политической сцены поражен болезнью ненависти и уверен, что противника надо уничтожать, так как в этом заключается суть политики, по другую же сторону смертельно болен вирусом махинаций, а левые идеалы уравновешивает связями с бизнесом и тоже считает это сутью политики. По моему глубокому убеждению, должны прийти новые люди — честные и бескорыстные». (*«Жечпосполита», 13 сент.*)

• Александр Халль: «Главные грехи польской политики — это сведение ее к социотехнической игре, из которой исчезают понятия общего блага и общественного служения, а также вырождение политических партий, которые становятся группами интересов, а не выразителями идейных направлений, имеющихся в обществе». (*«Жечпосполита», 28 сент.*)

• Станислав Лем: «Почему польские интеллектуалы смутились и замолкли? Почему они перестали играть ведущую роль — особенно совещательную? Думаю, что я знаю один из ответов: они не знают, что советовать и в какую сторону вести». (*«Тыгодник повшехный», 3 окт.*)

• 10 сентября Сейм единогласно принял постановление, в котором говорится, что Польша не получила от Германии военных репараций. Правительство отмежевалось от этого постановления, заявив, что вопрос претензий к Германии закрыт. (*«Жечпосполита», 25-26 сент.*)

• «Политическим авантюризмом назвал польский министр иностранных дел постановление Сейма относительно военных репараций от Германии (...) Раздражение, вызванное требованиями "Прусского общества опеки", а особенно отсутствие четкой реакции правительства на немецкие попытки переиначить новейшую историю, повлекли за собой терминологическую неразбериху. В одну кучу были свалены репарации, реституция собственности, компенсации и возмещение ущерба». (*Кристина Грабовская, «Впрост», 26 сент.*)

• Премьер-министр Марек Белька и канцлер Герхард Шредер согласились, что вопрос польско-немецких взаимных притязаний и военных компенсаций закрыт. Над разработкой аргументов, отклоняющих возможные компенсационные иски со стороны частных лиц, будут совместно работать юристы обеих стран. (*«Тыгодник повшехный», 10 окт.*)

• «По мнению президента Кучмы, юго-восточные районы нынешней Польши — это "исконные украинские земли". Такое утверждение появилось в обращении Кучмы по случаю 60-й годовщины т.н. обмена населением между Польшей и Украиной (...) Только бы это обращение не привело к эскалации взаимных исторических претензий. Не знаю, до чего мы дойдем, если начнем соревноваться, чьи "исконные земли" простирались дальше». (*Петр Костинский, «Жечпосполита», 23 сент.*)

• В Ираке погибли трое поляков: подпоручик Петр Мазурек, подпоручик Даниэль Ружинский и старший рядовой Гжегож Носек. В течение года в Ираке погибло 17 поляков, в т.ч. 13 военнослужащих. (*«Жечпосполита», 13 сент.*)

• Международная дивизия под польским командованием насчитывает 6 тыс. солдат, в т.ч. 2500 поляков. По численности польский контингент в Ираке занимает четвертое место после США, Великобритании и Италии. (*«Жечпосполита», 6 окт.*)

• Помощь Польши развивающимся странам (в млн. долларов) составила: в 1998 г. — 19, в 1999 — 20, в 2000 — 29, в 2001 — 36, в 2002 — 14,4, в 2003-м — 27,2. Польша помогает, в частности, Афганистану, Анголе, Грузии, Ираку, Молдавии и Вьетнаму. (*«Газета выборча», 8 окт.*)

• Еще 90 чеченцев, въехавших вчера в Польшу, попросили политического убежища. Чеченцы опасаются самосудов и репрессий российских властей после нападения террористов на школу в Беслане. 12 польских центров беженцев располагают 2300 местами. После последней волны беженцев свободных осталось только несколько десятков мест. (*«Газета выборча», 14 сент.*)

• До сегодняшнего дня в Польшу приехали искать спасения в общей сложности 15 тыс. чеченцев. С начала года чеченцы подали 4498 заявлений о предоставлении статуса беженца (за весь прошлый год подобные заявления подали 5345 человек). До сих пор беженцами были признаны 600 человек, а 14 получили временную защиту. (*«Ньюсуик-Польша», 26 сент.*)

• Уполномоченный по правам человека Анджей Цолль: «Нельзя рассматривать каждого чеченца как потенциального террориста. Этот народ переживает великую трагедию». (*«Жечпосполита», 17 сент.*)

• «Поляков нужно наконец приучить к мысли, что среди нас будет появляться все больше лиц экзотических национальностей, которые — быть может, случайно — избрали нашу страну своей новой родиной. Вполне возможно, что они будут такими же добропорядочными гражданами Польши, как мы сами». (*Богумил Люфт, «Жечпосполита», 17 сент.*)

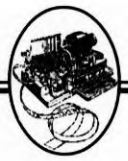
• Военный самолет с дарами «Польской гуманитарной акции» приземлился во Владикавказе. Специализированная медицинская техника предназначена для больниц Владикавказа и Беслана. (*«Жечпосполита», 13 сент.*)

• «В Кракове есть чеченский центр по защите прав человека, где скрываются бандиты, сбежавшие после первой чеченской войны», — утверждает официальный представитель Регионального оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией на Северном Кавказе генерал-майор Илья Шабалкин. «Ни одному из деятелей центра не было предъявлено обвинений в каких-либо преступлениях, — отвечает на это директор Чеченского информационного центра в Кракове Збигнев Бадура. — Видимо, теперь в России бандитизмом называют протесты против геноцида. Центр не ведет противозаконной деятельности (что неоднократно подчеркивали польские власти) и осуждает акты терроризма вне зависимости от того, кто их совершает. Однако факты таковы, что в 99 случаях из 100 за ними стоят российские военные». (*«Жечпосполита», 23 сент.*)

• Польский военный самолет Ан-26 был задержан на аэродроме в Ростове-на-Дону. Российские власти заявили, что он не располагает полной документацией, необходимой для перелета над территорией России. Самолет вез оружие, боеприпасы и солдат в Азербайджан, где поляки должны были принять участие в маневрах в рамках программы «Партнерство ради мира». На борту находился 21 человек, в т.ч. 5 членов экипажа. (*«Жечпосполита», 15 сент.*)

• Депутаты Европейского парламента из трех прибалтийских государств и Польши подписали декларацию, представленную на рассмотрение Европарламенту. В декларации, в частности, говорится, что нападение СССР на Польшу 17 сентября 1939 г. было «очередным шагом на пути проведения в жизнь печально известного пакта Риббентропа—Молотова, целью которого был раздел Европы между двумя тоталитарными режимами: фашистской Германией и Советским Союзом». (*«Жечпосполита», 17 сент.*)

• По случаю 65-й годовщины советского нападения на Польшу в Варшаве у памятника Павшим и убитым на Востоке прошла торжественная «перекличка погибших». Премьер-министр Марек Белька



принял участие в подобной церемонии в Катовице. Во Вроцлаве ровно в полдень на минуту включились сирены. (*«Жечпосполита», «Газета выборча», 18-19 сент.*)

• Анджей Вайда о катынском преступлении в интервью «Известиям»: «Несколько тысяч военнопленных офицеров расстреляно в Катыни. Они были в руках НКВД, они могли принять участие в войне против фашистов: это были офицеры, более половины из которых — польская интеллигенция. Врачи, профессора, священники. Расстрел в Катыни — акция против права существования Польши как таковой. Мы потеряли тогда огромную часть интеллигенции, которая после войны могла бы строить Польшу». В Катыни погиб отец Анджея Вайды. (*«Газета выборча», 5 окт.*)

• Проф. Анджей Хвальба из краковского Ягеллонского университета: «У нас нет доступа к большинству документов, связанных с политикой советских властей [в отношении Польши]. Нам удалось получить кое-что во времена Бориса Ельцина, однако в период правления президента Владимира Путина в доступе к советским архивам наступил явный регресс. Впрочем, это касается не только польских историков, но и исследователей из других стран». (*«Жечпосполита», 15 сент.*)

• Президент Александр Квасневский побывал с официальным визитом в Москве. Встреча с Владимиром Путиным прошла в прохладной атмосфере. Вопреки ожиданиям, не было подписано польско-российское экономическое соглашение. Зато российская сторона сообщила о завершении прокуратурой следствия по делу о катынском преступлении. (*«Тыгодник повшехный», 10 окт.*)

• Александр Квасневский в Москве: «Немного есть на свете народов и обществ, которые познали друг друга столь близко, как поляки и россияне. В новой Европе демократические Польша и Россия должны найти некий модус вивенди». На второй день визита в столицу России Квасневский посетил построенную под Москвой фабрику женских прокладок торунской фирмы «Белла». «Я предпочитаю, чтобы польская фирма производила здесь прокладки, а не ядерные ракеты», — сказал польский президент. (*«Газета выборча», 29 сент.*)

• Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов: «Важнейшим результатом этого визита стало то, что он состоялся. (...) 10 лет назад Европейский союз и Российская Федерация подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве, предполагавшее, что Россия, быть может, медленно, быть может, зигзагами, но будет приближаться к модели европейского государства. Между тем сегодняшняя Россия развивается в прямо противоположном направлении (...) Если говорить о польско-российских отношениях, то политики обеих сторон неоднократно подчеркивали, что исторические конфликты не должны отрицательно сказываться на наших взаимных контактах. Тем временем все происходит как раз наоборот: есть целый ряд годовщин, которые напоминают о прошлом и вызывают самую разную реакцию (...) Поэтому я думаю, что чем больше будет контактов между нынешними лидерами, тем лучше». (*«Жечпосполита», 29 сент.*)

• «Мы говорили о том, как польские СМИ освещали трагедию в Беслане», — признал после встречи с российским президентом Александр Квасневский. По словам Владимира Путина, на основании представленных ему анализов он пришел к выводу, что в польской прессе было опубликовано много несправедливых и клеветнических оценок. Квасневский объяснил ему, что в Польше СМИ свободны и нет политического центра, который мог бы заказывать антироссийские материалы. (*«Газета выборча», 29 сент.*)

• Адам Михник: «Неужели Брежнев воскрес? Так и кажется, что мы вновь слышим его голос: "На фоне общемировой поддержки, выраженной России в связи с трагедией в Беслане, серьезным диссонансом стала широкая антироссийская кампания в польских СМИ". Это было написано в информационном сообщении пресс-службы Кремля, распространенном перед встречей президентов Путина и Квасневского в Москве. Из этого же сообщения мы узнаем, что антироссийская кампания была "поддержана рядом официальных лиц Польши" (...) Я обращаюсь к нашим российским коллегам: вы хорошо знаете, что польские СМИ открыты для вас. Мы публиковали и будем публиковать статьи российских авторов, представляющие разные точки зрения. Однако вы должны объяснить своим начальникам, что в Польше никто не имеет права диктовать газетам, что писать о России и Чечне, о США и Ираке, и наконец — о Польше». (*«Газета выборча», 29 сент.*)

• Проф. Ежи Помяновский: «Следовало бы основательно проанализировать обвинение в русофобии, предъявленное президентом России польским СМИ. Ответ Квасневского, что польские СМИ свободны, был признан банальным. Заметим, однако, что он соответствует действительности, — как, впрочем, и большинство банальностей. Наша печать в самом деле более независима, чем когда-либо и где-либо. Конечно, иногда случаются ошибки и бестактности — например, там, где мы не учитываем всем известную обидчивость и обоснованную чувствительность россиян, воспитанных в духе осажденной крепости. Однако суть дела заключается не в тоне некоторых репортажей, а в доста-

точно повсеместном в польской прессе неприятии принципа коллективной ответственности. Это заставляет [наших журналистов] клеймить как подлые нападения террористов на невинных людей, детей, школы и больницы, так и коллективное возмездие, по определению затрагивающее весь народ, к которому они принадлежат. Я уверен, что этот проклятый принцип осудит каждый здравомыслящий прагматик, а уж тем более президент многонационального государства». (*«Ньюсуик-Польша», 10 окт.*)

• Из интервью президента Александра Квасневского программе «Вести недели»: «Мы обещаем и вам, и российским телезрителям, что везде, где существует терроризм, где попираются принципы законности, Польша будет выступать против. На нашей территории не будет никакого центра — ни чеченского, ни другого, — который мог бы заниматься такой деятельностью». Квасневский подчеркнул, что его слова касаются только организаций, поддерживающих терроризм: «Мы не будет отказывать в праве на въезд чеченским беженцам или препятствовать в распространении прочеченских мнений». (*«Жечпосполита», 4 окт.*)

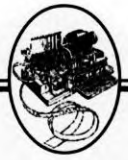
• Стефан Братковский: «Что касается России, то я уже долгие годы раскапываю захватывающее прошлое ее вычеркнутой из памяти демократии. Я верю в будущую, столь же гордую и интересную Россию — не кровожадную, перед которой нужно заискивать ради нефти, но демократическую; в страну таких россиян, как мои героические и мудрые товарищи по профессии — Политковская, Бабицкий и им подобные…» (*«Жечпосполита», 2-3 окт.*)

• Среди многих выдающихся людей со всего мира, подписавших открытое письмо главам государств и правительств ЕС и НАТО, в котором содержится призыв к пересмотру политики в отношении России и президента Путина в связи с ограничением демократии, были и поляки: Владислав Бартошевский, Януш Бугайский, Бронислав Геремек, Ежи Козминский, Адам Михник, Януш Онышкевич, Януш Рейтер и Радек Сикорский. (*«Жечпосполита», 29 сент.*)

• «Вопрос о России — один из самых трудных европейских вопросов, а честный ответ на него гораздо менее приятен, чем еще несколько лет назад. Однако этот вопрос касается нас, как никакой другой. Он неизбежен даже сейчас, когда мы вырвались из соцлагеря в НАТО и ЕС. Хотя сегодня нам, полякам, так везет, тем не менее никогда не настанет такое утро, когда мы проснемся и не увидим этого огромного, непонятного, вызывающего в равной степени ужас и любовь, мучимого своей болью медведя у восточных границ Польши, одновременно являющихся границами Европы». (*Ежи Сурдыковский, «Ньюсуик-Польша», 19 сент.*)

• Из интервью с премьер-министром Мареком Белькой: «Нас разделяют прежде всего психологические барьеры. Между поляками и россиянами нет никакой личной, межчеловеческой вражды, в отличие от того, как это было между поляками и немцами сразу после войны. Поляки прекрасно отличают захватившую Польшу империю и советскую систему от людей, которые, как нам хорошо известно, страдали и были первыми жертвами этой системы. Что же мешает нам улучшить наши отношения? Россияне испытывают некий психологический дискомфорт, когда им приходится рассматривать Польшу в качестве полноправного партнера. Из-за этого они все время бьются головой об стенку. Мы же не позволяем относиться к себе иначе. (...) Но есть и другая проблема. Россияне сверхчувствительны, а мы их не понимаем. Они же, в свою очередь, совершенно не понимают нас. Они не понимают, что существуют свободные СМИ, не понимают, почему для нас так важна Катынь. С другой стороны, мы не понимаем их. Например, для нас очевидно, что с 1945 по 1989 гг. здесь царила система, силой навязанная Советским Союзом, что это было не освобождение, а порабощение. Россиянам же непонятно, как мы можем не помнить, что 600 тысяч их соотечественников погибли в ходе военных действий на территории Польши, т.е. в ходе освобождения Польши от фашизма, как они это понимают. Россияне не могут простить нам того, что в первые годы преобразований после 1989 г. в Польше разрушались и переплавлялись памятники Красной армии. Польско-российский психологический круг замыкается». (*«Жечпосполита», 7 окт.*)

• Лемки действуют без лишнего шуму, зато успешно. Шаг за шагом они возвращают свое имущество, конфискованное в 1949 году. Сразу же после падения коммунизма в Польше они основали общество, которое помогает собирать документы, необходимые для возвращения утраченной собственности. Они заплатили юристам за экспертизы, подтверждающие беззаконность конфискации их имущества. В октябре 2001 г. Высший административный суд вынес первый прецедентный приговор о возвращении лемковского имущества. С тех пор в воеводские исполнительные органы поступило 220 заявлений о возвращении конфискованной собственности. По 45-ти из них уже вынесены вступившие в законную силу постановления, 20 постановлений ожидают вступления в силу, а остальные заявления находятся в процессе рассмотрения. До войны в Низких Бескидах и Бещадах жило 150 тыс. лемков. Сегодня лемками называют себя 12 тыс. человек, но по оценкам лемковских организаций эта цифра должна достигать 30 тысяч. (*«Ньюсуик-Польша», 10 окт.*)



• Почти 70 обвинений, в т.ч. в пытках и незаконном содержании в КПЗ членов национально-освободительных организаций, предъявил бывшему коменданту Управления безопасности (УБ, госбезопасность в послевоенной ПНР) в подкарпатском городке Ниско прокурор Института национальной памяти. 83-летний обвиняемый Станислав С. был назначен комендантом УБ в Ниско осенью 1944 года. После этого он был начальником УБ в Гдыне, а затем окончил Центральную партийную школу им. Юлиана Мархлевского и работал в МИДе. Карьеру дипломата он завершил в должности первого секретаря польской военной миссии в Берлине. (*«Жечпосполита», 25-26 сент.*)

• **Спустя 22 года после кровавого разгона манифестации «Солидарности» в Любине вступили в законную силу первые приговоры милиционерам, руководившим этой операцией. Вроцлавский апелляционный суд утвердил приговор к 2,5 годам лишения свободы, вынесенный бывшему заместителю легницкого воеводского коменданта милиции Богдану Г. Вступил в законную силу и приговор к 5 годам лишения свободы командира взвода моторизованной части гражданской милиции (ЗОМО, спецназ ПНР) Тадеуша Й. С учетом амнистии 1989 г. оба срока уменьшены наполовину. Процесс третьего обвиняемого, заместителя коменданта любинской милиции Яна В., будет повторен в четвертый раз. (*«Газета выборча», 29 сент.*)**

• Согласно решению эльблонгского окружного суда, фирма «Жеронимо Мартинс дистрибуция» должна заплатить Божене Лопацкой, бывшей работнице торговой сети «Бедронка» («Божья коровка»), компенсацию в размере 35 тыс. злотых. Лопацкая требовала компенсации за 2600 отработанных сверхурочных часов, за которые она не получила никакого вознаграждения. В канцелярию адвоката Леха Обары, который бесплатно вел дело Лопацкой, уже подано пять следующих заявлений от работников «Бедронки». Еще полтора десятка находятся в стадии подготовки. По некоторым оценкам, общая сумма компенсаций может составить 125 млн. злотых, так как во всей Польше в 600 супермаркетах сети «Бедронка» работают 6 тыс. человек. (*«Ньюсуик-Польша», «Впрост», 10 окт.*)

• **Хорошему писателю — хорошие деньги. По имеющимся данным, аванс Рышарда Капустинского за книгу «Путешествия с Геродотом» составил около 200 тыс. злотых. Норман Дэвис за книгу «Восстание-44» получил свыше 500 тыс. злотых. (*«Жечпосполита», 25-26 сент.*)**

• Председатель Общества польских писателей Петр Войцеховский: «Мы уже забыли язык описаний природы. Сегодня люди не в состоянии отличить траву от осоки или камыш от тростника (...) Думаю, что немногие сегодняшние поэты способны узнать зяблика, сойку или сизоворонку и различить их голоса…» (*«Жечпосполита», 28 сент.*)

• **«Закон об охране животных не работает. У ветеринарной инспекции нет людей, средств и желания, чтобы следить за его соблюдением на промышленных фермах, рынках, в цирках, лабораториях и зоопарках (...) "Ветеринарная служба была создана ради блага людей, а не животных, — говорит начальник варшавской ветеринарной инспекции Анджей Майхер. — Прежде всего мы должны предотвращать разнесение животными инфекционных заболеваний и паразитов, проверять продукты животного происхождения (...) Предписания о гуманном обращении с животными — это нечто новое. Вдобавок они довольно туманны, а их истолкование зависит от чуткости отдельных инспекторов"». (*«Газета выборча», 5 окт.*)**

• К восьми месяцам лишения свободы приговорил Щецинский районный суд Збигнева С., повесившего свою собаку. «Люди должны понять, что закон защищает животных. Это наши друзья, а иногда и защитники, создающие чувство безопасности. Это живые существа», — сказала судья Катажина Нащинская, обосновывая приговор. Это один из самых суровых в Польше приговоров за дурное обращение с животными. Впервые убийство животного повлекло за собой тюремное заключение. (*«Газета выборча», 7 окт.*)

• **15 тыс. человек подписали подготовленную обществом «Эмпатия» петицию, призывающую ввести в столице запрет на цирковые выступления с участием животных. Инициативу уже поддержал президент Варшавы Лех Качинский. Теперь «Эмпатия» хочет убедить в своей правоте депутатов городского совета. (*«Газета выборча», 27 сент.*)**

• «Две обезьянки одного из самых мелких видов обнимали друг друга лапками, образуя единое целое (...) Дело было на базаре (...) Они были насмерть перепуганы. Я купила их и принесла в сумке домой (...) Они тряслись от страха, их невозможно было расцепить (...) Прошло немало времени, прежде чем их удалось приручить (...) Мы не можем так относиться к животным. У них ведь тоже есть сознание — не такое как у людей, но они точно так же страдают». (*Ядвига Жилинская, «Тыгодник повшехный», 10 окт.*)

Петр Войцеховский

КАТОЛИЧЕСТВО ОБРАЩАЕТСЯ В ХРИСТИАНСТВО

Может быть, мои друзья, гордые своим католичеством, любящие нашу Церковь и Папу, обидятся на такое заглавие. И неправильно сделают: чем больше мы радуемся тому, что мы католики, с тем большей жаждой должны устремляться к христианству настолько глубокому, чтобы оно не подвергалось никаким разделениям. Погруженные во Христа — можем ли мы быть разделены? Разве слова «католичество», означающее вселенскость, соборность, и «православие», означающее ортодоксальность, истинную веру, не с одинаковой точностью определяют одних и тех же людей, душою влекомых ко Христу? Разве мой православный брат не хотел бы в этом смысле быть «кафоличным», через вселенское свое вероисповедание побратавшимся со всеми исповедниками Христа — маронитами, лютеранами, коптами, католиками, униатами, пресвитерианцами?

Этим замечанием я должен был начать рассказ о II Конгрессе христианской культуры, и не только потому, что организаторы разумно и целесообразно не включили в его название словосочетание «католическая культура», а еще и потому, что читать меня будут русские друзья, для которых христианство — это прежде всего опыт (будь то вера или неверие) православия.

Первый такой конгресс в Люблине проходил в 2001 г., и вот теперь, в 2004-м, прошел второй. Не нужно быть сверхнаблюдательным, чтобы видеть, что это не отдельные единичные события, а скорее кульминация некоторого течения в польской религиозной жизни, течения, проявляющегося во многих отдельных или регулярных встречах, в периодике, пастырском окормлении. Это течение состоит в том, что люди совместно делятся размышлениями и вместе переживают впечатления. «Конгрессное» течение не втягивает в свои рамки ни всех католиков, ни всего духовенства или всех епископов — оно скорее свидетельствует о плюрализме, показывая, что всеобщему вероучительству, «простонародной» вере, богослужению, объединяющему миллионы верующих, сопутствует постоянный труд по интеллектуальному углублению веры, обмену взглядами, общим встречам вокруг красоты. Иоанн Павел II в одной из своих речей перед учеными говорил о «служении мысли» — это, пожалуй, точное определение.

Если бы мне нужно было назвать главные черты этого течения религиозно-интеллектуальных встреч, я назвал бы три, ибо поляки знают (от русских узнали), что *«Бог троицу любит»* (курсивом — по-русски в тексте. — *Пер.*).

Эти встречи всегда открытые, т.е. к польскому католичеству организаторы стараются привлечь то, что ценно в христианстве за границей, то, что важно и актуально в мысли агностиков, иудеев, исповедников других религий. Это во-первых.

Во-вторых, здесь как правило царит деловитость: ораторы готовятся старательно, они компетентны, не ищут эффекта, не пытаются блеснуть провокацией или эрудицией. Говорят на тему и ответственно.

И, наконец, в-третьих — это встречи злободневные, отвечающие на сложившиеся сегодня трудности, сомнения, кризис в польской Церкви, в Польше и Европе.

Потому-то конгресс этого года определил направленность своей работы словами «Европа общих ценностей: что вдохновляется христианством в объединенной Европе».

В первый год формального и действительного членства Польши в Европейском союзе надо было поставить несколько важных вопросов, не ставя, однако, понятию Европы никаких границ. И верно, ибо граница Евросоюза — не граница Европы, а «общие ценности» живы на берегах Рейна, Днепра, Волги, Вислы, Эбро. Духовное объединение Европы проходит параллельно дипломатической деятельности, а вдохновение христианством можно черпать не из одного-единственного источника, поддерживая себя молитвой по восточному и западному обряду.

Отчасти наше вступление в Европу Евросоюза — это включение нашего социального и культурного капитала не только в европейское сотрудничество, но и в европейскую конкуренцию. Уровень культурного капитала складывается из уровня людей и уровня соединяющих их связей. Люди образованные и здоровые, а вдобавок порядочные и связанные узами доверия и взаимного уважения к национальному достоянию, — это не то же самое, что образованные и здоровые люди, привыкшие ко лжи, воровству и насилию, не доверяющие друг другу и лишенные культурных корней.

Отчасти наше вступление в Европу Евросоюза — это включение нашей демократии в систему демократических устройств стран ЕС и в систему европейских демократических учреждений. Чтобы функционировать хотя бы на среднем уровне успешности и правозаконности, демократия должна опираться на общество, в котором действуют организации, клубы, движения, объединения, приходы. Она должна также иметь в своей основе некий уровень насыщенности общества гражданскими добродетелями, такими, как правдивость, доброжелательность, честность, ясность мысли и сжатость высказываний, пунктуальность, ответственность, чувство юмора. Если этих гражданских добродетелей нет, если они чрезмерно редки — демократия выродится, ее процедуры и формы превратятся в демократию-ширму, скрывающую структуры, основанные на коррупции, эгоизме, страхе и насилии.

Нужно ли говорить, что Церковь многое может сделать в распространении гражданских добродетелей? Потому-то в программе люблинского конгресса, уже в первый день его заседаний, фигурировали доклад архиепископа Тадеуша Кондрусевича из Москвы о столкновении морального наследия коммунизма с практикой либеральных обществ и панельные дискуссии, сосредоточенные на сегодняшних нравственных аспектах государственного и общественного бытия.

Какую цену платит политик за честность? Может ли высокая культура, не подражая шоу-бизнесу, найти своих читателей, слушателей, зрителей? Можно ли свободе выбирать путь нигилизма — или же она должна устанавливать законы и повиноваться им? Этим трем большим дискуссиям с участием философов, представителей искусства и литературы, деловых людей и публицистов предшествовала торжественная церемония вручения дипломов почетных докторов Люблинского католического университета выдающемуся композитору Миколаю Гурецкому и не менее выдающемуся кинорежиссеру Кшиштофу Занусси. Доклад Занусси (кстати, хорошо известного в культурных кругах России) стал настоящим открытием заседаний.

Занусси стремился определить, чем исключительна европейская мысль, и поставить вопрос, не может ли эта исключительность стать светом, выводящим нас из ночи кризиса. Он, в частности, сказал: «Европа сохраняет свое самосознание, неустанно подвергая себя сомнению, и кажется, что как раз изобретение самосомнения сделало Европу колыбелью ускорения в развитии, которое мы легко привыкли называть прогрессом. Критический подход вырастает из уверенности, что существует некая объективная истина и если мы правильно ищем, то не можем ее потерять. В критицизме проявляется вера в собственные силы и уверенность, что разум нас не подведет. Без Аристотеля и св. Фомы Аквинского эти как будто очевидные вещи не были бы поняты. Европа обязана своим успехом сфере духа, в которой она оказалась и которую развила, идя по пути, проложенному Ветхим и Новым Заветом. (...) Тезис о том, что христианство исчерпало себя, утратило свою вдохновляющую силу в культуре, невозможно доказать, пока на свете существуют христиане. Великий русский художник самого молодого искусства, искусства образов и звуков, Андрей Тарковский с благодарностью говорил, что человечеству грозит не столько атомная гибель, сколько то, что умрут последние верующие, а вместе с ними кончится вся европейская культура. Тарковский несомненно был представителем «восточного легкого» европейской культуры, того, которое ценит разум ниже, чем веру, не веря, что разум на пути к истине неизбежно познает Бога. Наблюдая процесс обмирщения Запада и зная, как успешно был обмирщен восток Европы, Тарковский питал опасения, что Европа может увидеть свой конец. Даже самая высокоразвитая технология не гарантирует выживания никакой цивилизации, не служит залогом ее способности к воспроизводству и защите. Если сегодня европейская цивилизация открывает перед нами перспективы уменьшения населенности Европы, если жизненный комфорт приводит к тому, что европейское население убывает, а неудобства родительства — к тому, что у благополучных европейцев мало детей, то не только демограф, но и политик обязан спросить, обладает ли наша цивилизация действительной волей выживания и развития или же она дошла до своего края, исчерпалась и жаждет смерти».

Подчеркнутые Кшиштофом Занусси доверие к разуму, подвижность критического ума и нравственное наследие христианства привели к тому, что не где-нибудь, а в Европе кристаллизовалась идея прав человека, отсюда стремящаяся проникать в пространства других культур.

Вопрос о том, верны ли сами европейцы не только предписаниям о правах человека, но и глубочайшей их сути, было главной нитью доклада философа Шанталь Дельсоль (Франция), известной своим критическим отношением к либерализму и постмодернизму. В Польше знают книги Шанталь Дельсоль, а она сама не раз признавалась в том, какое влияние оказали на нее контакты с диссидентами из Польши и других стран Центральной и Восточной Европы.

Шанталь Дельсоль подвергла сомнению функционирование идеи прав человека в западных развитых обществах: «Наша современность глубоко уверена, что служит только идее прав человека, идее, основанной на разуме и, следовательно, признанной верною всеми людьми доброй воли, идее естественной, нейтральной, бесспорной. В действительности же она служит своеобразной и, таким образом, сомнительной философии прав. (...) Человек [по этой философии] есть существо, не имеющее никаких обязанностей. Единственная область, в которой от него требуют делиться с другими, обладать ответственностью и обращать внимание на ближнего, — это экономика. И если общество готово позволить, чтобы дети лишились отца или родители были покинуты, то невозможно, не сталкиваясь со всеобщим осуждением, отказать в согласии на перераспределение некоторой части богатств. Прежнее всеобщее мнение гласило: „Люби и делай что хочешь", — сегодняшнее поучает: „Поделись деньгами и продолжай делать что хочешь". Вот так мы подошли к попытке истолковать эту специфическую антропологию. Во-первых, это антропология материалистическая: материальные и потребительские блага составляют в ней основные ценности. Поэтому и вся сеть европейских законов бдительно следит за качеством нашего продовольствия, в то время как телевидение заливает наши умы отбросами, даже запаха которых мы не чувствуем.

Потому-то сегодня считают, что преступность есть результат различий в заработках или низкого уровня семейных пособий, а отнюдь не дурного воспитания. Потому-то духовный выбор, который делают люди, вынужден сегодня таиться в глубине совести и не может выйти на дневной свет (в качестве примера можно назвать введенный в Греции приказ ликвидировать в удостоверениях личности пункт о религиозной принадлежности). Таким образом, сегодняшние суждения о правах человека стремятся ограничить оценку поведения людей, приводя тем самым к отмене как понятия отклонения, так и идеи добродетели; это становится возможным путем сближения обоих терминов».

Историческим и богословским горизонтам надежды было посвящены выступление чешского философа, католического священника Томаша Галика. Он стал второй, после Шанталь Дельсоль, «звездой» второго дня конгресса. Бывший диссидент, посвященный в сан в чешской «подпольной Церкви», сегодня он представляет собой важную, красочную, влиятельную фигуру, и его влияние выходит далеко за пределы Центральной Европы.

В его докладе мы услышали о необходимости помнить и постоянно осуждать прошлое в соответствии с Божиими заповедями любви.

«Смысл и надежду разговора памяти с совестью, настоящего с прошлым мы можем выразить единственным словом: метанойя, — сказал о. Галик. — Это нечто большее, чем урок, извлекаемый из истории в смысле педагогической мудрости — historia magistra vitae.

Метанойя — преображение, раскаяние, обращение, перемена образа мыслей и поведения, — это суть Христова учительства и одновременно вызов, который принимает апостол Павел, выступая перед греками, собравшимися в афинском ареопаге. Помимо всего прочего она означает преодоление границ между прошлым, настоящим и будущим. Принять этот вызов и ответить на него означает как искупление прошлого (отпущение грехов), так и предвидение совершенного будущего („знайте, что близко Царство Божие", „Царство Божие внутрь вас есть"). Акт обращения придает настоящему моменту глубину и смысл, настоящее тем самым выходит из линейного потока времени (хронос) и становится временем желанным (кайрос). „Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения" (2 Кор. 6:2), — восклицает апостол.

Иоанн Павел II на пороге третьего тысячелетия сказал, что в истории имели место три крупных разочарования в европейском христианстве, три болезненные раны в истории Церкви и Европы: вражда к евреям, судилища инквизиции и насилие во время крестовых походов. (...) Стремление всеми возможными средствами истребить зло в Церкви и обществе, не дожидаясь суда Божия, то есть взять в свои руки оценки, осуждение и наказание, прямо расходилось с предостережением Иисуса ученикам, чтобы они в своем ревностном стремлении упредить Страшный суд не вырвали плевел вместе с зерном. (...) Обращение через Иисуса к эсхатологическим горизонтам побуждает к терпению и терпимости. Ревностность революционеров и инквизиторов — грех против добродетели надежды. Надежда отворяет время и пространство созреванию веры».

Я чувствовал бы себя недобросовестным, если бы в статье о II Конгрессе христианской культуры не представил хотя бы трех важнейших докладчиков достаточно развернутыми цитатами, чтобы читатель смог ощутить вкус мышления на конгрессе. Но мне придется обойти стороной десятки других важных докладов, блестящих выступлений во время их обсуждения, резких споров в панельных дискуссиях и в кулуарах. Я сам участвовал в панельной дискуссии, посвященной вопросам духовных ценностей постмодернизма, — оставим это до другого случая. Невозможно сжато изложить подлинное богатство и разнообразие заседаний, а стоило бы еще рассказать, что такое Люблинский католический университет, который был хозяином конгресса и одновременно помогал ознакомиться с его заседаниями сотням студентов. Стоило бы также отдельно написать о митрополите Люблинском, архиепископе Юзефе Житинском, вдохновителе обоих конгрессов, канцлере ЛКУ, пастыре, мыслителе. Стоило бы представить этого скромного дружелюбного человека, одаренного чувством юмора.

Думаю, что о Люблинском католическом университете и архиепископе Житинском «Новой Польше» следует написать отдельно, я же должен закончить несколькими словами о Люблине в дни конгресса. Это красивый город, расположенный на невысоких холмах, город молодежи, город множества высших школ во главе с двумя университетами — государственным им. Марии Кюри-Склодовской и более старым Люблинским католическим. Университетским городом Люблин стал после I Мировой войны, когда Польша завоевала независимость. Старинный город с долгой историей. Начинался он с крепости на торговом пути, воздвигнутой для защиты от татар. Потом Люблин стал важным городом королевства, расположенным в центре богатых сельскохозяйственных территорий, прославился тем, что в нем заседали суды, независимые от королей, — и до сих пор в центре города господствует массивное здание суда. Люблин был городом многих королей — по сей день от городских ворот виден могущественный замок, позже ставший тюрьмой — царской, гестапо, НКВД и польской госбезопасности. В замке сохранилась часовня Пресвятой Троицы с уникальными фресками, где западная живописная техника соединяется с восточными, иконописными образами святых. Люблин на протяжении столетий был излюбленным городов евреев — за большое количество и высокий уровень здешних школ, где изучали Талмуд и готовили раввинов, его звали еврейским Оксфордом. История люблинских евреев трагически завершилась в годы гитлеровской оккупации.

Среди нескольких встреч с искусством, состоявшихся во время конгресса в сентябре этого года, я обязан назвать как раз ту, что была связана с мученичеством люблинских евреев, — ночную мистерию «Поэма о Месте». Мистерия, подготовленная люблинским «Театром НН», шла без актеров. Зрителей вели из Старого Города во двор замка, вел их свет, а сопутствовали им извлекаемые из-под земли голоса — подлинные звукозаписи свидетельств уцелевших. Среди участников, среди толпы старшеклассников и студентов можно было увидеть и тех, кто мог помнить военное время, — общее волнение созидало общину старых и молодых. Это упрочение интеллектуальных размышлений с помощью религиозных и художественных переживаний — постоянная составная интеллектуального течения в польском католичестве, в кругах, ищущих обращения через «служение мысли», стремящихся к «метанойе», к полноте христианства.

Через четыре, а может, через два года в Люблине пройдет следующий конгресс. Надо ожидать, что еще сильнее прозвучат экуменические акценты — с присутствием православных христиан из России и с Украины. Нас ведь столь великое соединяет и столь малое разделяет.

Ежи Редлих

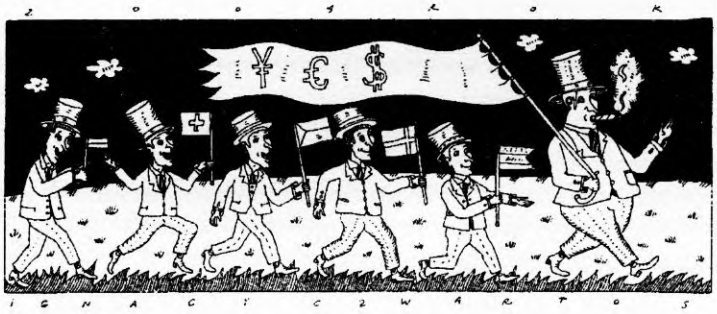
ФОРУМ В КРИНИЦЕ — НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

«Криница стала символом желания Польши завоевать репутацию полноправной региональной сверхдержавы в новом, расширенном Евросоюзе», — несколько язвительно заметила французская газета «Монд» в связи с недавним, уже 14-м по счету криницким экономическим форумом. Однако криницкая встреча — это действительно единственный в регионе форум, на котором представители политики и бизнеса обсуждают актуальные экономические проблемы и заглядывают в будущее сотрудничества. Нынешний форум был важным, в частности (а может быть, прежде всего) потому, что проходил, когда Польша и несколько других стран стали членами ЕС. Таким образом, можно говорить уже не только о взаимодействии государств Центральной и Восточной Европы, но и о формировании восточной политики Евросоюза. Может быть, именно по этой причине приглашение на форум приняли 1500 гостей из 40 стран, в т.ч. несколько глав государств и правительств. Это свидетельствует о том, что интерес к встрече был гораздо выше, чем в прошлые годы.

Помимо «ветеранов» в форуме приняли участие представители стран и фирм, которые до сих пор не проявляли интереса к криницкому начинанию. Например, впервые приехало около 60 бизнесменов и политиков из Ирана, Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Йемена, Египта и Марокко. Их присутствие объяснялось, в частности, тем, что в этом году в экономической тематике на первый план вышли топливно-энергетические проблемы. В этом контексте удивляет, что так скромно была представлена на заседаниях Россия — один из мировых лидеров по добыче нефти. Впрочем, российская делегация, в т.ч. и официальная, вообще была значительно меньше, чем в прошлые годы. Не было не только ведущих политиков, но и крупных представителей российского бизнеса, прежде приезжавших в Криницу. Неужели их не волновали затрагиваемые там проблемы? А может, тем самым они хотели подчеркнуть падение интереса к Польше, организующей подобные встречи?

Некоторые наблюдатели сетовали, что недостатком нынешнего форума было... богатство его программы. Одновременно проводилось по несколько тематических панельных дискуссий — на протяжении трех дней состоялось почти сто заседаний. Главный лозунг форума: «Европейские вызовы — безопасность, солидарность, эффективность», — был столь емким, что как следует обсудить основные темы было просто невозможно.

И все же участникам встречи удалось рассмотреть некоторые вопросы, важные для стран, находящихся на этапе общественно-политических преобразований и в то же время принятых в европейскую семью народов. Одним из этих вопросов было привлечение иностранных инвестиций. Например, стоит ли привлекать инвесторов с помощью налогового демпинга, т.е. значительно более низких налогов, чем в соседних государствах? Общеизвестно, что иностранные инвесторы обходят Польшу стороной, зато охотно делают капиталовложения в Словакии, где налоги ниже. То же самое произошло в Эстонии и других прибалтийских республиках: после радикального снижения налогов туда хлынули инвестиции.



На посвященной этому вопросу панельной дискуссии большинство специалистов ут-

верждало, что, хотя налоги важны, неизвестно, не важнее ли для инвесторов стабильность законодательства, ясность принципов приватизации экономики и степень вмешательства государства в экономические процессы. В этом отношении Польша уступает другим странам региона. В своем выступлении на криницком форуме польский вице-премьер Ежи Хауснер признал эти недостатки, но подчеркнул, что иностранный капитал нельзя привлекать чрезвычайными налоговыми льготами, так как это приносит лишь краткосрочные эффекты. Польша заинтересована в инвесторах, действующих в соответствии с теми же законодательными принципами, что и польские предприниматели, сказал Хауснер. Вот именно! То, что несколько месяцев назад налоги с предприятий были снижены до 19%, как раз и дало несомненный импульс капиталовложениям как польских, так и заграничных фирм.

В то же время Польша не согласна с голосами, раздающимися в некоторых странах ЕС (например, во Франции и Германии), которые вместо того, чтобы задуматься, почему у них самих налоги слишком высоки, осуждают Польшу за «слишком низкие» налоги и требуют санкций в виде уменьшения помощи Польше из европейских структурных фондов. На криницкой встрече неоднократно подчеркивалось, что налоговая политика — суверенное дело каждого из членов объединенной Европы и никакие санкции здесь недопустимы. Эти выводы из криницких дискуссий могут быть поучительны для стран, которым еще только предстоят общественно-политические преобразования (как, например, республикам Средней Азии), а также для государств, которые, подобно Болгарии и Румынии, вскоре должны вступить в Евросоюз. Приведенный пример свидетельствует о ранге Криницы как познавательного и просветительского форума.

Очень интересной была панельная дискуссия «Стратегическое партнерство Европейского союза с Северной Африкой и Ближним Востоком». Казалось бы, ситуация в Ираке и другие очаги напряженности в этом регионе не благоприятствуют спокойным беседам об экономическом сотрудничестве. И все же прибывшие в Криницу многочисленные представители арабских государств проявили к такому сотрудничеству немалый интерес. Речь шла не только об увеличении поставок нефти и газа, но и об инвестициях в новых странах-членах Евросоюза. «Арабский день» на криницком форуме как раз и был посвящен инвестиционным перспективам. Для многих представителей арабского региона это было первое после долгих лет перерыва изучение инвестиционных нужд, которые могут удовлетворить нефтедоллары. Приведу конкретный, хотя, возможно, и незначительный пример, касающийся самого места проведения форума — курортного городка Криница: не исключено, что результатом пребывания в нем представителей Саудовской Аравии станет строительство за их деньги отеля класса «люкс», а также восстановление запущенной, некогда известной в Европе санной трассы.

В этом году на форуме еще четче, чем прежде, обозначились изменения в характере дискуссий, которые уже не только подводят итоги преобразований или оценивают ситуацию в нашем регионе, но и заглядывают в будущее. Таковы были, например, встречи, посвященные рынку СМИ и энергетической безопасности. И в том и в другом случае, хотя с виду эти темы далеки друг от друга, участники дискуссии подчеркивали значение свободы выбора и пагубность монополистских тенденций.

О широте тематики криницкого форума свидетельствует и то, что среди сотен сессий и панельных дискуссий нашлось место для встречи на тему: «Успех, состояние, счастье: что нужно человеку?». Может ли «homo oeconomicus» быть счастливым человеком? Многие участники этой дискуссии говорили, что для полного удовлетворения человеку необходимо также стремление к знаниям и активное участие в культурной жизни.

Ignacy Czwartos

Ежи Помяновский

НЕУСТАРЕВШАЯ ТЕМА

Статья Чеслава Милоша о Мандельштаме («Газета выборча», 1996, 23-24 ноября), его поэтическом величии и человеческой слабости обладает тем достоинством, что заставляет задуматься над двумя немаловажными вопросами. Первый связан с оценкой поведения русских писателей в период террора. Невозможно согласиться с осуждением их всех одним махом, и трудно понять, как Милош, поэт, которому я не вижу равных, а сверх того мыслитель без иллюзий, соглашается применять повседневные нравственные нормы к поступкам людей, поставленных в нечеловеческие обстоятельства, под натиск смертельного гнета.

Во-вторых, речь идет об отношении польской общественности к тому, что происходит в России. Милош не знает на собственном опыте Советского Союза времен «великого страха», но принадлежит к исключительно лояльным и хорошо информированным знатокам русской литературы. Поэтому тревожным недоразумением выглядит тот факт, что его выступление прозвучало в унисон с другими голосами, повторяющими сарматские, презрительные мнения о России — и тем самым отвлекающими внимание от подлинных опасностей, которые могут оттуда прийти.

Ныне пишут о грехах и винах жертв советской системы, в то время как ее наследники отнюдь не отрекаются от надежд на реставрацию своей машины чистки мозгов собственных подданных и обращения в подданство окружающих народов. Эта реставрация может быть остановлена только руками самих российских граждан. В России рано или поздно сформируется течение, состоящее из все более многочисленных политиков и миллионов избирателей, знающих, что имперская, традиционная концепция государства стала неокупаемой, что она принадлежит истории. Демократы или только полудемократы, гражданские лица или даже военные — не это главное. Главное, что они не посягают на свободу других народов. В русских политических традициях эта тенденция, признаемся, была слабой. До сих пор ее обосновывали немногочисленные представители мыслящего слоя, а хорошо заметна она была только в литературе. И вот как раз литераторов и выбрали себе мишенью глашатаи предрассудка, согласно которому русские — по природе рабы, и ничто их не переменит.

Пример возьмем не откуда попало. В газете «Жечпосполита» (1996, 29-30 июня), на тех самых страницах, где сейчас печатает свой «Ночной дневник» Густав Герлинг-Грудзинский, появилась большая статья Кшиштофа Маслоня — критика молодого, но уже известного самостоятельными и высоко ставящими планку оценками. Рецензируя «Путеводитель по современной русской литературе и ее окрестностям» Тадеуша Климовича, критик назвал свою статью «Инженеры душ». Статья читается как сборник уголовных репортажей, где преступников, жертв, судей и палачей описал ловец анекдотов, не знающий ни того, что творилось за стенами зала суда, ни шифра подсудимых. Рядом с информацией о доносителях типа Софронова или Ермолова и слов признательности таким свидетелям, как Венедикт Ерофеев, мы читаем, что Ахматова «любила попивать слегка подогретую водку» и, хуже того, в собственноручно написанном письме «просила Хорунжего Мира [так называла Сталина пропаганда ПНР. — *Пер.*] освободить сына», когда его в очередной раз на много лет арестовали. Мы узнаём, что Иосиф Бродский в ссылке страдал недостаточно: получал сигареты, дерево для печки и даже письма. Читаем мнение критика Сарнова об Александре Галиче: «Он писал о заключенных, а сам не сидел». Действительно, вскоре после возвращения с «диссидентского биеннале» в Венеции он погиб в своей парижской квартире, убитый током: вошел в дом, а сесть не успел — что правда, то правда. Мандельштам — это факт — погиб по пути на Колыму, но забрали-то его из дома отдыха Литфонда, так что привилегиями пользовался. Вообще же «милостей товарища Сталина домогались все».

У меня претензии к критику не за то, что он не пишет жития святых, но за то, что он не умеет вести себя в доме, где царит траур. Потешные истории, которые он рассказывает о слабостях, падениях и умоляющих письмах, — это ведь контрапункт огромного реквиема русской литературы. По самым приблизительным подсчетам, больше двух тысяч советских писателей погибли за колючей проволокой или с пулей в затылке. Там действительно платили головой за слово правды. 70 лет там пытались сломать тот домкрат национального сознания, каковым является литература. Но эта операция не удалась ни Сталину, ни его последышам — фабрика подлости не выполнила план. Одинокие, беззащитные, подверженные всем человеческим слабостям писатели делали что могли. Призраки Толстого и Чаадаева, Гоголя и Лермонтова, Аввакума и Салтыкова-Щедрина пробуждали поутру людей, измученных страхом, и повелевали использовать талант, коли он есть. Самиздат возник в России раньше,

чем у нас. Поражает даже не то, что беспримерный террор сломил столько талантов, а скорее то, что так немногие искренне и до конца ему поддались. Потому-то Александр Кабаков пишет, что это безумная страна, где к литературе относятся как к религии. Польский критик, приводя эти слова, не услышал в них восхищения. Зато в его обзоре слышится высокомерное хихиканье. Причин этому я не вижу.

Когда прилагают короткую польскую мерку к условиям, в которых пришлось жить Клюеву, Ахматовой, Бабелю, Мандельштаму, это почему-то напоминает мне старый рассказик про англичанина, который во время войны объяснял полякам, почему не нужно бояться гитлеровского вторжения на Британские острова: «Мы просто закроем магазины, оккупанты не получат ни куска хлеба и будут вынуждены со стыдом убраться восвояси».

Кстати, думаю, что об истории советской литературы невозможно говорить, если не отличаешь трагедии от гиньоля.

Юзеф Юзовский, родившийся в Варшаве и описанный в «Голубых листках» Адольфа Рудницкого («Человек в вагнеровском берете») в 1948 г. был признан главой заговора космополитов, врагов советской родины. Не без оснований. Юз был в Москве заведомо лучшим театральным критиком, и ему не удалось утаить пренебрежения к тем, кого назначили великими писателями. Его коллег Резника и Альтмана посадили сразу. Юзу досталась, может быть, худшая судьба: ждать. На протяжении шести лет он каждый вечер ложился на свою кушетку одетым, с готовым узелком под головой: в узелке была смена белья и очки. Жена-актриса развелась с ним, чтобы не терять ролей и места в труппе. Забрала с собой маленького сына. Юзу осталась только собака. Он выводил собаку во двор на раннем рассвете и очень поздно вечером, чтобы случайно не столкнуться с другими жильцами писательского дома в Лаврушинском. Собака заставила его выжить. Не только привязанностью и бдительностью: вечером она не раз возвращалась к хозяину с банкнотой под ошейником. Эти банкноты под собачий ошейник засовывал Илья Эренбург, который ни разу этим не похвалился. Юз узнал об этом поздно и от третьего лица.

Он рассказал мне эту историю только тогда, когда ему наконец разрешили побывать в Варшаве. Говорил он полушепотом, хотя на дворе давно уже стояла оттепель. Автора повести «Оттепель», которая дала имя этой эпохе, нередко — и не без причины — обвиняли в оппортунизме и трусости. Я неплохо знал его и думаю, что поначалу был соблазн игры: он сел за карты, убежденный, что сумеет переиграть даже шулеров. За соседним столиком, напомним, играли в кости таких, как он. Его спасло везенье: тот, кто сдавал карты, умер раньше.

Дело Юза дает в руки обвинителям Эренбурга важное, но хлопотливое доказательство. Ясно, что он боялся: при этом строе и в то время всякий, кто помогал гонимым, сам нарывался на их судьбу. Он робел, молчал, путал следы, помогал тайно, но все-таки старался помочь.

В истории Юза, Эренбурга и собаки я нахожу две неотступные темы. Первая — политическая. Оказывается, для оценки того или иного строя достаточно простого критерия: что в нем безопасней и легче — быть подонком или порядочным человеком? Вторая касается литературы. Для нее это тема не новая, но такая, о которой продолжают забывать. Аристотель в «Поэтике» писал, что ему неинтересны истории любви двух друзей или ненависти двух врагов — интересует же его ситуация, в которой влюбленные должны бороться друг с другом, враги — сотрудничать, а трус и циник осмеливается сделать то, на что не осмеливаются храбрые, добродетельные и верующие мужи. Не осмеливаются — или не хотят знать. Критики, писатели, читатели молодого поколения могут просто не знать, что в СССР действовала, так сказать, позитивная цензура. Не писать порочных, запрещенных слов и предложений — этого было мало. Молчание было рискованным: Бабель пытался замолчать — с известным результатом. Побег в стилистические изыски приводил к убийственному обвинению в формализме. Надо было писать то, чего ожидала власть, что она приказывала, — и только это. Если уж взял перо в руки, уцелеть можно было, лишь выполняя этот долг. Обычно старались откупиться одной или несколькими уступками. Происходило это в условиях неустанной смертельной угрозы, нигде больше не существовавшей: Эриху Кестнеру в Третьем Рейхе удалось — в молчании, но безнаказанно — пережить Гитлера.

Нет никакого сравнения между угрозой, которая висела над головами писателей в СССР, и тем, что грозило нам в ПНР. Тем не менее намерения власти были те же самые: ей было важно скомпрометировать всякий конкурентный авторитет, т.е. тот, что получил свою авторитетность не из ее рук. Запоздавшие на полстолетия счеты, которые сводятся у нас теперь, выглядят тратой времени и сил и посмертным триумфом Системы.

Да, многие русские спасались уверенностью, что это естественная система, к которой надо привыкнуть, которую надо признать исторической необходимостью, полной светлых надежд. Сначала так считали многие, без принуждения, тут Милош прав. Но настоящим поэтам в этом признании, а тем более в энтузиазме, мешал именно принцип приказа, противоречащий самой сути таланта.

Грешно судить этих людей не по их замечательным произведениям, вырванным у собственного страха, а по этим уступкам. Особенно с позиции людей, способных к свободному и безнаказанному выбору. Их, может быть, труднее судить, чем прилагать повседневные нравственные мерки к поведению заключенных в концлагере или спрашивать уцелевших, почему и за чей счет они посмели уцелеть. Ответ на эти вопросы, задаваемые самому себе, дали Тадеуш Боровский и Примо Леви — самоубийцы.

И все-таки Чеслав Милош, тот самый Милош, который с такой отвагой задал подобные вопросы своему народу, христианству, всему равнодушному к Катастрофе миру, — осудил Осипа Мандельштама, ибо тот стихами о Сталине пытался спасти и свою жизнь, и непрерывность определенной культурной традиции, которую считал совершенно необходимой. Жизни он не спас. Непрерывность сохранилась благодаря тем, кто запомнил его стихи.

Один из них, писатель Фазиль Искандер, защищал Мандельштама, напоминая, что оды великим мира сего веками писали в надежде получить награду, а Мандельштам написал свою оду в надежде на милосердие — «дьявольская разница...».

Действительно, прилагать абсолютные мерки, вне зависимости от времени, места, условий, окружения, — занятие немилосердное и вдобавок тщетное, если судья не знает, как сам повел бы себя в крайней ситуации. Все мы такие судьи.

Может быть, Милош хотел сказать, что нигде нет святых. Но для этого у него не было ни причины, ни обоснованных мотивов. В конце концов, в расчет принимается сумма человеческих поступков и то, что называется — и что называет Солженицын — раскаянием, то, что должно состоять в возмещении ущерба. Пример святого Петра, трижды отрекшегося, может служить не только христианам.

Суфийская школа считает, что у нас не одна, а две души: ангельская и звериная — прожорливая, но слабая. Задача обществ, как мне кажется, — создавать такие порядки и условия, при которых эта звериная часть нашей души имеет меньшее поле действия и меньше случаев показать себя. Вот и всё.

Тут стоит добавить лишь несколько слов, и чтобы их понять, не нужно быть ни русистом, ни знатоком Мандельштама, ни поэтом. Не примите их, пожалуйста, за патетику. Позор — не слабости человеческой, позор — власти, которая ставит на эту слабость, кормится ею, свое дерьмо оставляя историкам и критикам, которые в свою очередь принимают его за истинную суть пожранных и сгноенных существ.

1996, 30 ноября — 1 декабря

gazeta wyborcza

От автора

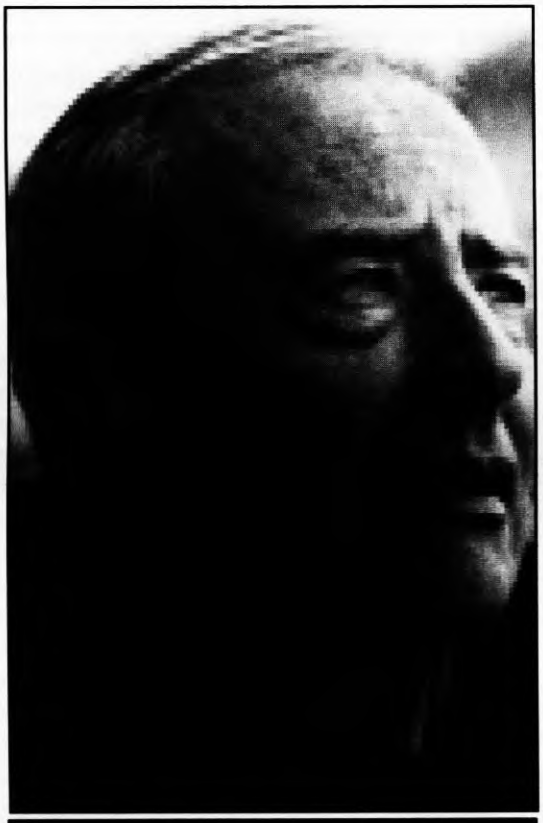
Я извлек из-под спуда этот текст, в частности, потому, что в журнале «Наш современник» (2004, №3) вышла статья С.Куняева «Крупнозернистые поэты». Куняев известен у нас как автор книжицы «Шляхта и мы» — курьезной антологии клеветы и претензий, собранных лишь затем, чтобы натравить русских на поляков. Разумеется, никто в Польше не стал платить ему той же монетой. Однако на этот раз придется ответить на его статейку, ибо она направлена против русского поэта, которого в Польше особенно ценят и любят, — против Осипа Мандельштама. Вопреки обыкновению, Куняев не причисляет его к «русскоязычным еврейским витиям», но силится бросить тень на его славу, пользуясь еще более позорным приемом. Он пытается доказать, что затравленный, преследуемый, доведенный до попытки самоубийства и, наконец, арестованный и сосланный на верную смерть поэт на самом деле был искренним поклонником Сталина и энтузиастом режима. Доказательством этому должна послужить прежде всего ода, о которой я спорю с Милошем.

Подобное утверждение — не что иное как попытка выдать патологию за признак здоровья, причислить жертву к числу борзописцев жестокого режима. Однако наш Фигляев не отдает себе отчета в том, что тем самым он оказывает режиму медвежью услугу. Он, сам того не желая, показывает всю саморазрушительную нелепость этой системы, которая, выходит, убивала собственных приспешников и энтузиастов, даже если они были гениальными поэтами. Ни нам, ни множеству россиян не нужно об этом напоминать. И все же свидетельство Куняева полезно: оно выставляет на посмешище не прежних, а современных, уже не вынужденных, но добровольных певцов старых злодеяний. Почему они восхищаются этими злодеяниями? Потому что, видите ли, эти злодеяния великие. И смешно и страшно.

Борис Дубин

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИТОЛЬДА ГОМБРОВИЧА

«Вам Лев Толстой не мешает писать?» — спрашивал Блок знакомого литератора и, вздохнув, признавался: «Мне — мешает». Такой великой «помехой» в великой польской словесности XX столетия был и во многом остается Витольд Гомбрович. «Без него я стал бы беднее, — передавал свои разноречивые чувства тридцать с лишним лет назад Славомир Мрожек. — А рядом с ним мне трудно быть собой». Это одна сторона дела: такой крупный и вместе с тем неподражаемый писатель, хочешь — не хочешь, заслоняет, парализует и хорошо если не вовсе обеспложивает современников.



Витольд Гомбрович

Есть и другая. Бруно Шульц называл Гомбровича разведчиком и именователем областей неофициального, непризнаваемого, замалчиваемого в жизни и в сознании, сопоставляя его с Фрейдом (я бы добавил здесь имя фрейдовского ученика Эрика Эриксона, который ввел само понятие «кризис взросления»). Роль, что ни говори, для большинства окружающих малосимпатичная, и надеяться на их благодарность или хотя бы благожелательность в ответ на откровенность диагноста, понятно, не приходится. Тем более что Гомбрович был привередлив и нелицеприятен, привык провоцировать и любил задирать, делал это каждым словом, каждым поступком, каждой новой вещью. От него доставалось и самым близким (тому же Шульцу или Милошу), а о более дальних и говорить нечего.

Такой «неприятный» писатель не просто тяжел для окружающих. Окружающее тяжело для него самого, вот в чем дело: правда для него — всегда «одиозная» (по выражению грибоедовского персонажа, «хуже всякой лжи»), признания — всегда «тягостные» и «невольные». При этом он своим дьявольским зрением сразу видит ахиллесову пяту собеседника и метит в самые болезненные для него, а потому упорней всего защищаемые точки — гордыню и жертвенность, стадность и самодовольство, похвальбу и раболепие... Если говорить о двух сквозных традициях польской культуры: пророческо-мифотворческой и нигилистическо-иконоборческой, то Гомбровича можно считать главной представительской фигурой, прародителем и покровителем второй из названных линий — линии беспощадной национальной самокритики; он бы, впрочем, на это отрезал, что представляет только себя. Думаю, сатирические фильмы Мунка или абсурдистские драмы Мрожека — на той же смысловой оси, и статус подобных авторов (вспомним, к примеру, наших Щедрина или Зощенко) не назовешь исторически надежным, непоколебимо классическим.

Классика ведь всегда в центре: она и олицетворяет центр, столицу, устои. Гомбрович же, как и Шульц, защищал, можно сказать, «права провинций» — в этом они писатели даже не XX века с его бунтом мировых окраин, но уже послевавилонского двадцать первого столетия, в котором, по старинному богословскому выражению, центр повсюду, а окружность нигде. Классика, добавлю, тяготеет к величию, почему и становится великой; Гомбрович (и опять-таки Шульц) восстанавливают достоинство незначительного, малого, завалящего — героя-молокососа, как это делает Гомбрович, хлам повседневности, как поступает Шульц. Главная фигура в классике — автор, всезнающий и всевидящий, вездесущий и неподвижный бог этого гелиоцентричного мира. Несущее начало центробежной прозы Гомбровича и литературы «гомбровичевского» склада (например, гениального «Падения» Камю или беккетовского «Безымянного») — рассказчик, подвижная, ускользающая от самогó говорящего точка зрения, фигура и интонация бесконечно неутолимой и бесконечно сбивчивой речи.

Характерны «авторитеты» Гомбровича (поостережемся, однако, простодушно принимать их на веру). Откликаясь в 1960 году на просьбу берлинской газеты «Тагеблатт» перечислить пять книг, оказавших на него наибольшее влияние, Гомбрович назвал «Братьев Карамазовых» Достоевского, «Веселую науку» Ницше, «Волшебную гору» Томаса Манна, «Короля Убю» Альфреда Жарри и «Дневник» Андре Жида. Величавой классики тут, по-моему, и близко нет, а герои и повествователи во всех названных текстах — явно сводные братья Юзека из «Фердидурке» (а кто-то назовет джойсовского Стивена или томасовского «художника во щенячестве»). Они существа заведомо «незрелые», душевно незаскорузлые, но именно потому этически уязвимые и не успокоенные. Недаром Милош не колеблясь причислял Гомбровича к старой семье европейских моралистов, видел в его шутовстве стоический выбор и советовал вперемежку с ним читать Паскаля.

И последнее. Все романы и большинство новелл Гомбровича на русский переведены, за последние пятнадцать лет они не раз, в разных переводах издавались, открыта для знакомства его драматургия, большими фрагментами представлен «Дневник». Но «русского Гомбровича» — ни как катастрофического толчка к самоосмыслению, ни как фокуса острой полемики, ни как разворачивающегося события собственной жизни, — по-моему, до сих пор нет. Не видно усилий к его пониманию: писатель, о котором на всех уважающих себя языках мира написаны книги, не удостоился на русском ни одной самостоятельной, принципиальной статьи без ученической или поучающей позы (если это вообще не одно и тоже), — одни дежурные «сопроводиловки» и «врезы», приличествующие беспроблемному классику. Между тем, мы у себя в стране снова и снова, я убежден, наступаем на те самые грабли, которые колотили по лбу общество и человека, воссозданных Гомбровичем. Так чтó его от нас или нас от него заслоняет? Родные лень и нелюбопытство? Привычные спесь и самозащита? Среди авторов, ведущих полемику с Гомбровичем, — не только поляки, что вроде бы «естественно», это и аргентинцы (ну, допустим), и американцы (им-то что эта Гекуба?), а ведь можно было взять немцев и венгров, испанцев и французов. Как бы там ни было, среди них нет и трудно представить русских. Или я ошибаюсь?

Витольд Гомбрович

Перевод Юрия Чайникова

ИЗ «ДНЕВНИКА»

1958

X

Вторник

Вчера состоялось мое выступление «О современной проблематике». Я решился на него отчасти от скуки, но и чтобы вступить в контакт с интеллигенцией Сантьяго, и не предполагал, что все окончится столь демонически.

Я попытался дать характеристику современного мышления и сказал, например, что оно «редуцированное» и что постепенно осваивается с «двойной интерпретацией», что мы ощущаем его как нечто «преобразующее не только то, что вовне человека, но и то, что внутри него, как созидающее того, кто мыслит», я ссылался на науку, на кванты, на Гейзенберга и волновую механику, на Гуссерля и Марселя — Боже мой, я говорил, как обычно, как говорят даже самые знаменитые, т.е. делая вид, что я на своей территории и что это для меня хлеб с маслом, в то время как на самом деле первый же вопрос в лоб положил бы меня на обе лопатки. Но я уже так привык к мистификациям! И мне прекрасно известно, что подобного рода мистификациями не брезгуют даже самые знаменитые! Поэтому я разыгрывал свою роль, и у меня даже неплохо получалось. Но тут я заметил в глубине зала, за первым рядом, покоящуюся на колене руку...

Другая рука, та, что была ближе и принадлежала другому человеку, то ли опиралась на подлокотник кресла, то ли цеплялась за него... и вдруг обе эти руки будто схватили меня, я аж испугался, дух перехватило... и во мне опять заговорило тело. Я присмотрелся повнимательнее: то были руки студентов, приехавших из Тукумана, и это сразу успокоило меня, передо мною снова возник образ Тандиля, я знал, что нет причины опасаться — руки благосклонные, дружественные; я снова оглядел зал, все руки были руками друзей, и, будучи, скажем так, телесными, они были на службе Духа, то были руки интеллигенции... Это скопление одухотворенных рук сотворило со мною чудо. Наверное, впервые в жизни я освободился от того актерства, бахвальства, показухи, которые наросли на моем духе. Серьезность и существенность моего положения как учителя внезапно перевесили всю мою неподготовленность. Я понял смысл моей задачи: речь шла о чем-то более важном, чем академическая лекция, «культурная работа», артистическая, литераторская подача себя; здесь я боролся за самого себя, пытаясь вытащить их из тела, превратить в экзистенцию; моя судьба зависела от того, насколько я сумею завоевать их и притянуть к духу, ведь только это могло спасти меня! И я начал говорить со страстностью, к которой сам прислушивался с недоверием, настолько всамделишной была она...

Потом началась дискуссия, но их робкие и взволнованные голоса лишь стали трамплином для моего метафизического голоса. Я был так силен, что впервые в жизни понял, какой бы я мог быть силой, если бы верил в себя так же, как верили святые и пророки. В конце встал какой-то юноша и громко поблагодарил, потом ко мне стали подходить другие. Было ясно, что благодарят меня не за интеллект, а за нечто более важное — за преодоление тела, телесности, физичности... Я попросил стакан воды. Тут же бросились выполнять мою прихоть. Минуту спустя вошел чанго с графином на подносе. Я испугался и притих. Этот чанго...

Но каким же порядочным было тело этого неграмотного... это была сама порядочность... это обыкновенное, спокойное, свободно живущее, легко движущееся, тихое тело, оно было самим приличием, самой нравственностью... и делало это так ярко, так совершенно, что по сравнению с ним это наше «духовное» собрание оказывалось каким-то чересчур высоким, как натужный писк... Не знаю... Святая простота грудной клетки, а может быть, волнующая искренность шеи; или эти руки, едва умеющие выводить буквы, руки шершавые и настоящие от физического труда... Мой дух испустил дух. Полный провал. Я ощутил вкус помады на губах.

Тем временем индеец (в нем наверняка было много индейской крови) наливал мне воду осторожными движениями раба, делая это руками, созданными для служения и лишенными гордости и значения. Взрыв этих тихих рук был тем страшнее, чем тише они были, ибо этот чанго, как каждый слуга, был quantité négligeable, был «воздухом», но именно поэтому, т.е. из-за своей незначительности, он становился явлением иного порядка, подавляющим этой своей ничтожностью! Выставленная за скобки, его незначимость там, за скобками, становилась значимой! Я попрощался и вышел. Мне не хотелось продлевать мой тет-а-тет с чанго. На улице было уже темно, многоцветный закат Сантьяго погас, и резкий зимний холод, появляющийся сразу же после захода солнца, заставил меня надеть пальто. Я еще обменивался прощальными любезностями с провожающими, когда чанго... прошел в нескольких шагах от меня.

Неужели тот самый чанго? Он? Они все так похожи друг на друга... что любого можно заменить любым, практически тождественным ему... а потому я был склонен допускать, что это другой, брат, друг, товарищ... не все ли равно? Он медленно шел в сторону реки Рио Дульсе. Я пошел за ним. Пошел за ним потому, что было абсурдно и невообразимо, чтобы я, Гомбрович, шел за каким-то там чанго лишь потому, что он был похож на чанго, налившего мне воды. Но опять его полнейшая неважность прогремела громом на задворках всего того, что у нас считается важным. И я пошел за ним, будто выполнял самую святую из моих обязанностей!

Я шел встревоженный... Ибо давно уже забросил прогулки в Ретиро и по Леандро Алем (о которых раньше писал) — а теперь, в Сантьяго, опять неожиданно возвращалась самая глубокая, самая существенная и самая болезненная из всех моих ситуаций: я шел за простецким парнем из низов. Но на этот раз появилась какая-то новая черта ситуации, а именно, что в игре были не красота и не молодость, а мораль: я шел, увлеченный той, *иной* честностью, добросовестностью, простотой, чистотой, которая подорвала и уничтожила мою одухотворенность. Я шел за его прямой спиной, такой нескрываемой, за его спокойными руками! А мой недавний триумф улетучился, фюить, и нет его!.. Но, отчаянно пускаясь в этот мой новый марш к фиаско, я, стиснув зубы, решил, что на этот раз доведу дело до конца... каким бы он ни был... Так дальше продолжаться не могло! С этим надо было кончать. И сам не знаю почему, может, из-за той навязчивости, с которой мне в глаза лезло тело, мне вдруг поверилось, что если я сумею разгадать физическую форму события, если найду физическое решение ситуации, то смогу с ее помощью прийти и к духовному решению. А пока что я шел за этим чанго в сумрак, понимая, что это мое следование за ним есть прежде всего формулировка ситуации: я и он, я — идущий за ним, я с ним в качестве проблемы, которую необходимо решить...

А проблема тем временем росла... прирастала той особой мощью, какой иногда набухают ничего не значащие вещи. И вот уже гудит у меня в ушах, стучит в висках это мое неожиданное шествие! Теоретически я знал, почему маячившее передо мною тело такое правильное, в противоположность той искривленности, что отличала нас, интеллигентов. Прозрачность тела! Честность тела! Ибо это тело делало игру потребностей и ценностей простой, ясной, для этого чанго ценностью было то, что удовлетворяло его телесные потребности, обычные потребности здорового тела, а потому он был по сути пассивным полем игры природных сил, был всего лишь природой и ничем больше — и потому он сиял передо мной в сумраке, чистый и прозрачный. Моральный, как пес, как конь! Моральный, как обычное здоровье! А я? А мне подобные? О, мы порвали с логикой тела и были продуктом сложных факторов, берущих начало не в природе вообще, а в специфической человеческой природе, мы — продукт человечества, продукт его «второй природы», человечности. Мы были извращением, утонченностью, усложнением, мы, несчастные, были Духом!... не мог же я смириться с той ситуацией, в которой я как бы иду за ним, волочусь, исполненный обожания... это было бы равнозначно фиаско... а потому, резко оторвавшись, я свернул в первую же улочку направо. Я порвал связь и теперь шел один... И, взбудораженный, говорил себе: К черту! Не забывай кто ты! Он — всего лишь тело, ничего не значащее, одно из множества, навоз! Ты — неповторимый, единственный, оригинальный, незаменимый!

И все-таки то, что я не был телесно ни столь честным, ни таким прозрачным, как он, имело настолько решающее значение, что я напрасно распевал гимны в свою честь. Они были приправлены горечью, и вокруг разносился запах гниения. На этой пустынной улице я почувствовал, что другого выхода нет,

что придется кого-нибудь убить, и я шел, готовый на убийство. Я должен был поставить его в один ряд с животными и остаться в одиночестве, в своей человечности; двойственная природа человечества — его и моя — больше не допускалась: либо мне превратиться в чудовище, либо ему — в животное, иного выхода не было... Эта очевидность шла в паре с другой, а именно: что я не должен был отходить от него и позволять ему оставаться одному, тайком. Поэтому я решил догнать его и расправиться с ним. Далеко ли успел он уйти? Наверное нет, он, почти наверняка, дойдя до парка, свернул направо и пошел по параллельной улице, и тогда я представил себе, что догоняю его и снова иду за ним... Нет, только не это! Да и нападение на него сбоку, из-за угла, было бы недостаточным... а потому я решил прибавить шагу, опередить его и выйти к нему навстречу из следующей поперечной улицы лицом к лицу... Вот что пришло мне в голову! Не сзади, не сбоку, а прямо, и лицом к лицу!

Не сзади.

Не сбоку.

А прямо, и лицом к лицу!

Так выглядела физическая формула победы. Это давало возможность атаковать. И мне была нужна война с ним, превращавшая его в моего врага, делавшая его внешней реальностью. Я чуть ли не побежал, и уже сам по себе этот нацеленный на него бег менял ситуацию в мою пользу. Потом я резко свернул. Замедлил шаг. Теперь я шел по улице с редкими фонарями, по одной стороне которой стеной стояли большие черные тихие деревья парка — а он шел на приличном расстоянии, растворяясь в блеске мерцающего света. Он приближался, а моя враждебность выпирала его из меня, как лихорадку, он был там, предо мною. Убить. Честно, я хотел убить его. Будучи уверен, что без этого убийства *я никогда не смогу оставаться в рамках морали*. Моя мораль стала агрессивной и убийственной. Быстро сокращалось расстояние между нами; само собой, я не собирался убивать его «физически», я лишь внутри себя жаждал убить его и был уверен, что стоит мне его убить, так я сразу же уверую в Бога, во всяком случае, стану на сторону Бога... Это было одно из мгновений моей жизни, в которое я ясно понял, что мораль дика... дика... Когда мы поравнялись, он улыбнулся и поприветствовал меня:

— Que tal?

Я узнал его! Это был один тех чистильщиков, что вертятся на площади, случалось, он и мне чистил ботинки. Знакомый! К такому обороту событий я не был готов! Столкновение, такое убийственное, и сорвалось... я кивнул ему, окрикнул: «Adonde vas?», мы разошлись, и от всех этих страстей ничего не осталось, только обыденность — обыденность — как высший тон, как царь горы событий!

(«Стало быть, у него опять катастрофа. Опять влезла проклятая обыденность в тот момент, когда перед ним уже вовсю развернулась драма — и снова все утекло, как вода сквозь пальцы, как будто та, «другая сторона» просто не хочет играть ни в какой драме... и наш Фауст погряз в текучке. Оставили его в дураках! Его лишили драмы — единственного утешения в борьбе с молодыми...»

«Но из этой несостоявшейся битвы при нем останется, видимо уже до самого конца, растущая убежденность в том, что добро имеет кулаки и умеет убивать, что мир моральный и духовный подчинен всеобщему закону жестокости. Вопреки всем его усилиям, разлад между духом и телом становится все меньше, они, эти миры, проникают друг в друга, сопрягаются...»

«Вот что вынес он из залитого солнцем Сантьяго»).

Михал Болтрык

«БЛАГОЧЕСТИВЫЕ РУССКИЕ» ИЗ ПЕРВОЙ ГИЛЬДИИ

Рассказывает Андрей Нечаев

Андрей Нечаев

Наша беседа проходит в несколько необычном интерьере: на стене над письменным столом, на самом верху, портрет Николая II, под ним — Николай II с царицей Александрой Федоровной. Рядом, слева наверху, поясной портрет Александра II, под ним — Николай I, ниже — Петр I. Справа — Николай II на большом балу в Зимнем дворце, ниже — генерал барон Врангель. Совсем внизу на стене висит тарелка с фигурой казака с картины Репина. Казака написал князь Оболенский, состоявший в дружбе с семьей Рощицких, с родителями Нины Нечаевой. К вышепоименованным царям добавим и такую маленькую деталь: мы находимся в Щецине, месте рождения принцессы Софьи Августы Ангальт-Цербстской, будущей императрицы Екатерины II. В доме 1 по Фарной улице, где она родилась, размещается сегодня Государственная страховая компания. Во время нашей беседы мы пьем чай марки «Царь Николай II». Несколько дней тому назад пакет этого чая прислала из Америки родителям дочь Лидия. В кабинете Андрея Нечаева, как и в остальных комнатах дома, на столах, столиках, этажерках и стенах много семейных реликвий. Много портретов, с которых на нас смотрят мужчины с окладистыми бородами. «Благочестивые русские, — говорит Андрей Александрович, — носили длинные бороды». Эти благочестивые русские *[здесь и далее курсивом — по-русски в тексте]* ***— предки Андрея и Нины Нечаевых.***

— Я из русско-польской семьи, — начинает свой рассказ Андрей Нечаев. — Мама, Анна Каспаровна Базанская, была полька. Нечаевы были родом из Самарской губернии, из центрального Поволжья.

Прадед Федор — самарский купец первой гильдии. Гильдия — это купеческая организация, подразделявшаяся на три категории, в зависимости от имевшегося капитала. Мой прадед был миллионером.

У Нечаевых была крупная торговля шерстью. Но своих овец не держали. Они брали в аренду большие отары овец, выращивали их, стригли овечью шерсть и торговали ею. А еще они получали доход от мельниц на Волге.

Мой дед Андрей Федорович уже не был так богат, как его отец. У прадеда было девять детей. Всех их он хорошо обеспечил. У моего деда было четверо детей, трое из них, в том числе мой отец Александр, получили высшее образование.

Дед вел дела широко, никогда не ошибался в расчете процентов, хотя до 35 лет не умел ни читать, ни писать. Этому искусству его научил отставной солдат, который прежде отслужил 25 лет в армии Николая I.

Нечаевы были так называемые *однодворцы*, то есть мелкопоместные дворяне. Крепостных у них не было. Из *однодворцев*, как правило, формировался класс купцов и промышленников.

Мой отец Александр Андреевич родился в 1869 г. в Екатериновке. Екатериновка насчитывала около четырех тысяч жителей, была там земская школа и больница. Мой отец, окончив земскую школу в Екатериновке, продолжил учебу в классической гимназии в Самаре. Там на высоком уровне преподавали латынь, греческий, французский и немецкий языки. Английский он выучил самостоятельно. И эти языки отец знал очень хорошо.

Окончив гимназию, отец поступил в Казанский университет и начал изучать медицину. Именно в это время, рассказывал позже отец, на юридическом факультете учился Владимир Ульянов из Симбирска. Он был известен как общественник, организатор разных студенческих акций. На четвертом курсе отец перевелся в Санкт-Петербург, в Императорскую Военно-медицинскую академию, уровень преподавания в которой был весьма высоким. Там в 1895 г. он получил диплом врача.

Тут я хотел бы на время перенестись из девятнадцатого века в начало XXI-го. Мой сын Игорь — хирург, занимается пластической хирургией, хорошо известен в медицинских кругах. Живет и работает в Шве-

ции. Его приглашают с лекциями и показательными операциями во многие страны мира. В 2003 г. он проводил их в Москве и Петербурге. На подобных симпозиумах доклады обычно читают по-английски. Мой сын читал доклад по-русски и этим весьма удивил хозяев. «В этой Академии, — сказал сын, — учился мой дедушка и здесь он получил диплом врача». Интерес к сыну в Петербурге возрос еще больше.

Но вернемся в конец XIX века.

Мой отец получил первую должность военного врача в Керчи. У врачей, юристов и духовных лиц в русской армии не было армейских званий. У отца был гражданский чин статского советника. Это соответствовало рангу полковника.

Из-за несчастной любви, как потом рассказала мне старшая сестра, он в 1901 г. оставил Керчь и переехал под Торунь, где в то время проходила российско-германская граница.

Отец был хирургом в 10-й Рыпинской пограничной бригаде. Жил в Любиче, что на р. Дрвенца, в двенадцати километрах от Торуни. Были два города Любича, один на германской стороне, другой — на российской. Железнодорожная станция, с которой поезда отправлялись в «Конгресувку» [«Конгресувка» — обиходное название той части Польши, которая по решению Венского конгресса в 1815 г. отошла к России], находилась на германской стороне. Отношения между Германией и Россией до I Мировой войны были очень хорошими. Германские офицеры свободно переходили на российскую сторону и с тамошней почты отправляли в Германию почтовые открытки: «Сердечный привет из русских степей».

Отец наряду с исполнением обязанностей военврача мог также иметь частную практику. Так он познакомился с моей мамой — Анной Базанской родом из Млынца, что на Дрвенце.

История имения в Млынце также заслуживает внимания.

Мой дед со стороны матери, ее отец, Кацпер Базанский, занимаясь продажей и покупкой имений, переезжал с места на место. Он очень любил охотиться. Как-то зимой 1894 г. отправился он к прусской границе, в Любич. Посредники-евреи показали ему имение с огромным садом в селе Млынец. В подтверждение того, что продают не кота в мешке, они разгребли в одном месте снег и показали черную землю. Дедушка купил это имение. Весной снег стаял. Его глазам открылась сплошная песчаная почва, а в довершение всего в начале XX века сгорело и само имение.

Однако, отчаиваться никогда не стоит. Оказалось, что эта песчаная почва таит в себе огромный капитал. И действительно, вскоре немцы начали строить железную дорогу из Торуни в Гданьск. Щебень они брали на территории, отошедшей в свое время по разделу к России, с дедушкиных гектаров, так как там было дешевле. На Дрвенце построили экстерриториальный мост и проложили узкоколейку; приехали несколько десятков землекопов из-под Кельце, сотнями вагонов перевозили щебенку.

У дедушки было двое сыновей и пять дочерей. На деньги, полученные от продажи щебня, младшая смогла год провести во Франции, Италии и Швейцарии. В Варшаве она открыла кофейню.

Но, к сожалению, вспыхнула война. Мост сожгли. Локомотив немцы увезли, осталось около сотни вагонов. Сто с лишним моргов земли превратились в пустыню с пригорками.

Особенность имения в Млынце заключалась также в том, что дедушка приобрел землю вместе со стоявшим в парке костелом, оставленном монахами-иезуитами. Ключи от храма были у дедушки. На храмовый праздник, посвященный св. Игнатию (Лойоле), прибывало до тысячи человек, и это совершенно опустошало парк.

Итак, при матери-польке и дедушке, владельце католического храма, у меня были все задатки стать и поляком, и католиком.

Бракосочетание моих родителей — Александра и Анны — состоялось в 1901 г. в православной церкви в Александрове (названном в честь Александра II), сегодня он называется Александров-Куявский. Родители до того, как началась I Мировая война, в связи с работой отца жили в Млаве, Ченстохове, Буско-Здруе, Рыпине.

Из Рыпина в 1914 г. отец ушел на войну, которую провел в качестве главного врача 82-го полевого госпиталя на германском фронте. С отцом на фронте была моя мама. Я родился 5 августа 1914 г. в Петрограде.

Мое первое воспоминание — прогулка с отцом у моря. Был вечер, летали чайки, стояли рыбацкие суда. Я держался за отцовский мизинец. Это было в Пярну, в Эстонии. Невероятно, но мне было тогда два года. Потом лишь отрывочные воспоминания, какие-то фрагменты из жизни в Великих Луках: фронт, солдаты маршируют во дворе.

Вскоре фронт перестал существовать, не стало и госпиталя, в котором работал отец. Мы перебрались в Рыбинск. Оттуда мы должны были плыть пароходом по Волге до Самары, где жили родители моего отца, его сестры и брат. Ничего этого я не помню. Все происходившие истории я знаю по рассказам родителей и няни.

Еще перед отъездом, в Ревеле, отца допрашивала комиссия солдатского совета. А там было не до шуток. Керенский приказом №1 объявил о ликвидации армейской дисциплины, введении права не отдавать честь и обсуждать приказы: атаковать врага или не атаковать.

Солдатские советы решали также, кого назначить командиром. И на таком совете отца спросили:

— Солдат наказывал?

— Да, — ответил отец. — Я работал в госпитале, а там должна быть дисциплина, иначе погибнут другие пациенты.

И это его спасло. Он вернулся домой живым.

На вокзале в Рыбинске, перед отплытием, отец оставил прекрасную мебель. Он все спрашивал себя вслух, доедет ли наша мебель до Екатериновки, куда мы направлялись. Железнодорожная линия от Самары до Владивостока в то время находилась в руках чешского легиона. Эти части, собственно, никому не подчинялись.

— Не пропадет ли моя мебель? — допытывался отец у начальника станции в Рыбинске. — Послушайте, вся Россия гибнет, а вы о какой-то мебели беспокоитесь, — услышал он в ответ.

И представьте себе, в такое смутное время мебель все же приехала в Екатериновку.

В Екатериновке отец получил место врача в бывшей земской больнице. С этого времени я уже все помню. Сначала мы застали там чехов, потом пришли красные латышские стрелки (их полки были самые верные большевикам). В близлежащем селе Ивановка, где было химическое предприятие, появились немцы, им очень быстро удалось наладить сотрудничество с советской властью.

Я помню свое первое посещение церкви, в которую ходил в Екатериновке с няней.

Жизнь становилась все труднее. В прежние годы довольно часто бывали периоды засухи. Однако при царской власти была прекрасно организована взаимопомощь. Теперь же все рухнуло. Люди ели белую глину, опилки, пухли от голода и умирали, как мухи.

Там, на Волге, даже в нормальные времена приходилось трудно — из-за того, что район малярийный. Каждые три дня нас бил озноб, поднималась температура, болела голова. У местных жителей был свой рецепт — они пили настой из полыни. Удивительно, что им это помогало. С медицинской точки зрения это можно объяснить только силой самовнушения.

Во время голода в Поволжье появились американки из гуверовской организации АРА (такой комитет помощи). Они раздавали манную крупу и сахарин. Про сахарин мы ничего не знали. Мама сварила манную кашу и по неведению добавила слишком много сахарина. Для меня это было отвратительно. И долгие годы потом я не брал в рот ничего сладкого. «Американцы отучили меня есть сладости», — говорил я всегда.

Шел 1922 год. Мы начали готовиться к отъезду из России. Мамины родные уже вернулись в Млынец и написали нам: приезжайте.

Польские власти, к удивлению отца, согласились дать ему гражданство. А все потому, что он более пятнадцати лет работал на польской земле. Ни для кого не было помехой, что работал он в царской армии. Впрочем, царские чиновники, работавшие на территории Царства Польского, в то время получали пенсию в Польше.

Пересекали границу мы через Негорелое—Столбцы. Нам удалось в сундуке с тайниками провезти бриллианты. У меня в карманах были бумажные керенки. Но меня не обыскивали.

До Млынца мы добрались в конце августа 1922 года. Отец получил разрешение открыть частную практику. Он работал в Добжине, что на Дрвенце.

Дома в нашей семье говорили по-русски. В школе я начинал с декламации стихотворения: «Кто ты такой? Я — маленький поляк».

В гимназии я учился в Броднице. И что интересно: там встретились сыновья трех царских офицеров из 10-й Рыпинской пограничной бригады, которых война разбросала по разным уголкам России: Никитин, Усов и Нечаев. Двое первых стали католиками, так как их родители перешли в католичество. Я был там единственным православным. Ближайшая церковь находилась в Торуни, в шестидесяти километрах от Бродницы. Естественно, я туда не ездил.

В школе три раза в неделю проводилась католическая служба. Вначале я туда ходил. С четвертого класса перестал. Некоторые католики тоже не всегда посещали службу.

Законоучитель спрашивал: «Кто не был на мессе?» И министрант [церковный служка] нашего класса начинал перечислять фамилии. Католики вставали, законоучитель их просто бил. Я вставал и говорил: «Православный». Меня он не трогал. Три года я ходил на уроки закона Божия. Священник меня никогда не вызывал отвечать.

С пятого класса я перестал ходить на эти уроки. В моем аттестате было записано: уроки закона Божия по православному обряду не преподавались. Даже в аттестате зрелости в 1935 г. у меня была такая запись. И тут могли возникнуть трудности. Для системы образования того времени отметка по этому предмету была обязательной. Видно, это сито было не слишком частым, потому что мне удалось сквозь него проскользнуть.

Поступать на медицинский я поехал в Познань. В университетской аудитории прочел объявление, что в Познанском университете действуют студенческие землячества — русских, немцев, украинцев, евреев. Я сразу же отправился на встречу «за чашкой чая» к русским студентам, на улицу Фоша, 72. Нас было человек двадцать. Многие были родом с «кресов» [восточные земли тогдашней Польши] — из Сарн, Бреста, Вильно, Ровно. Были также студенты из Лодзи.

Землячество русских студентов было организацией аполитичной, которая занималась весьма широкой деятельностью в области самообразования по истории

и культуре России. Собирались один раз в неделю, всегда читался доклад на соответствующую тему. Я был председателем этой организации. Куратором был профессор Витольд Клингер.

В Познани имелся православный храм. Его основали русские эмигранты-деникинцы. Батюшкой был о. Александр Богачев из белой армии Деникина.

На службу мы ходили в составе группы русских студентов. Разговаривали исключительно по-русски.

После литургии, а это был октябрь 1937 г., мы вышли из церкви. «О, православная барышня!» — сказал кто-то из нас. Мы подбежали к ней. Я не знал, что бегу на встречу со своей судьбой. Мы все представились. Барышня тоже представляется: Нина Рощицкая. Я тогда и понятия не имел, что это дочь секретаря Синода Ежи Рощицкого.

Нина училась в Государственной школе садоводства. Она приходила на собрания студенческого землячества, а еще мы встречались в церкви.

Каково было тогда отношение поляков к русским? Скорее равнодушное. В конце межвоенного двадцатилетия стало хуже. Очень хорошо к нам относились те поляки, которые когда-то жили в России, которые знали Россию не только по информации в польских газетах.

Но в конце 30-х годов Польша начала склоняться к фашизму — «Фаланга», ОНР [Национально-радикальный лагерь], увлечение Гитлером... У меня в университете был друг-поляк, который бегал на кинохронику в кинотеатр и с удовольствием смотрел гитлеровские парады. Молодежь из ОНР в дни антиеврейских акций кричала: «Еврей — бешеная собака, которую надо убить!»

Еще на первом курсе я стал свидетелем ужасающих сцен. В ноябре я пережил в университете антиеврейские дни. Представьте себе такую сценку: из двухсот студентов на медицинском факультете пятеро было евреев. Аудитория заполнена не только студентами, но и уличной шпаной. Почти все орут: «Убей еврея!» Профессор заявляет, что в таких условиях он не может читать лекцию и уходит. Евреи спасаются бегством, перепрыгивают через балюстрады. Кое-кто из них был сильно избит.

Меня это повергло в шок, это был ужас. Мой отец был гуманистом и демократом. В Добжине из четырех с половиной тысяч жителей две с половиной тысячи составляли евреи. Мы всегда вместе проводили время, и никому это не мешало.

Вскоре в университете ввели гетто — выделенные места для евреев в аудиториях, а затем numerus nullus [запрет евреям поступать в высшие учебные заведения]. Евреев вообще не принимали на медицинские факультеты.

Но и с немцами отношения стали портиться. Бек в апреле 1939 г. выступил с известной речью. Националисты были в шоке. До сих пор Гитлер был их героем, так как боролся с евреями.

После этой речи человек сто студентов вышли на улицы Познани. Они направились к немецкому консульству, скандируя: «Поедем из Познани в Берлин повесить Гитлера, он свинья». Из университета выгнали немцев. Гнев обратился также против русских студентов, которых изгнали из организации «Братская взаимопомощь» и из Кружка медиков.

В мае 1939 г. ко мне пришли двое в штатском: — Мы из «двойки» [второй отдел Генштаба — контрразведка], хотим поговорить.

Тут я понял, насколько мы были «под колпаком».

Так, летом 1938 г. я был в русском студенческом лагере. Общество русских студентов «Друг» арендовало у графа Бохенского (националиста) дом в Поникве и организовало там лагерь. В общество «Друг» входили также студенты из Галиции. Они считали себя русинами, а не русскими. Там я познакомился с парнем из Полесья. Он был внуком участника польского восстания 1863 года. Он считал себя русским. Жаловался, что полесский воевода Костек Бернацкий ликвидировал все русское. У парня не было доступа к книгам на русском языке. Я пообещал и выслал ему немного книжек, изданных до революции в качестве приложения к журналу «Нива».

Как раз об этом лагере и об этих книгах контрразведчики из «двойки» и хотели со мной поговорить.

Я ничего не скрывал, так как все, что мы в нашем землячестве делали, делалось открыто.

Летом 1939 г. я приехал в Варшаву на студенческую практику в больнице Святого Духа, располагавшейся возле синагоги. Там меня застала война. На пятый день войны мои коллеги-евреи говорят мне: «Лучше всего пойти и записаться в армию».

Мы отправились в казармы в районе Воли. Нас принял сержант, развел руками и говорит: «Господа, у нас нет даже обмундирования для призывников». В это время полковник Умястовский призывал по радио: «Молодые мужчины, уходите из Варшавы, направляйтесь на восток».

Признаюсь, у меня и в мыслях не было оставлять Варшаву.

Я жил в небольшом общежитии на Цегельной улице. Сначала меня туда принимать не хотели. Студент-националист заглянул в мой паспорт. Там было написано: вероисповедания православного.

— Ну, знаете, коллега! — возмутился он. — Мы не можем вас сюда принять! Вы, коллега, надеюсь, понимаете, что это общественный фонд.

Но были каникулы и многие комнаты были свободны, так что он принял меня за плату.

Кстати говоря, фамилия учредителя этого фонда была еврейская.

В ночь с 7 на 8 сентября по приказу гражданской стражи [добровольные дружины] я принимал участие в возведении баррикады на Груецкой улице.

Ночью я вернулся в общежитие. По дороге встретил товарища из Познани, из землячества русских студентов — Евгения Грицкевича. Он возвращался с практики в Залещиках.

— Идем к моим родителям, — предложил он. Его родители жили в Котре, между Пружанами и Березой-Картуской. Его отец был священником.

Мы пошли. Я взял с собой томик стихотворений Блока, изданный берлинским «Словом». По дороге купил в магазине карту Польши и буханку хлеба.

И вот мы идем. Днем жара. Люди у дороги продают стакан воды с песком за 50 грошей. Покупаем. Пьем. Идем дальше. Ночуем на картофельном поле. Чертовски холодно.

Бредем по шоссе, напевая: «Сегодня одна твоя улыбка, Иоанна...» Пролетает самолет. Снижается. Дает по нам автоматную очередь, бросает гранаты. Мы бросаемся на картофельное поле, потом бежим в лес.

Сзади нас тянулись военные обозы, шли тысячи людей. Очень скоро, когда мы уже были в лесочке, к шоссе прилетело много самолетов. Косили всех подряд. Автоматными очередями. На шоссе мясорубка, стоны, крики.

Потом мы пробирались по бездорожью, подальше от дорог. По пути встретили знакомых, русских из Познани. На лодке переправились через Буг недалеко от Дрогичина. Потом какой-то белорусский крестьянин на тощей лошаденке довез нас до села Котры. То, что я увидел в приходе, было весьма знаменательно: большой портрет Костека Бернацкого. Костек Бернацкий на Полесье был больше, чем царь.

Там еще была II Речь Посполитая. Крестьяне — гражданская стража, вооруженная палками, — сообщили полицейскому о каких-то чужих людях в селе, то есть о нас. Через пару дней те же крестьяне пришли нас арестовывать. Они представились советской властью.

В Пружанах советская власть. Варшава окружена. Мы решили ехать в Вильно учиться.

Но в Вильно — там я узнал, что Варшава пала, — атмосфера была совершенно неподходящая для учебы. Польских офицеров интернировали. Их жены стояли в очередях в советскую комендатуру. Все объявления в Вильно распространялись на пяти языках — русском, белорусском, литовском, идише и польском.

На вокзале я купил билет до Гродно. Оттуда зайцем доехал до Белостока. В Белостоке на вокзале кочевали сотни людей. Энкаведешник приказал: «Никому из здания вокзала не выходить. Утром будем пропускать в город и на перроны».

Я думаю про себя: дело плохо. Парню из Келецкого воеводства, с которым я там познакомился, говорю: «Лучше нам уйти». И получилось. Мы брели по шпалам в сторону Варшавы. Часть пути проехали на двухколесной дрезине. В Малкине мы проезжали посты — советский и немецкий. Солдаты оказались людьми порядочными. Немцы нам посоветовали: «Идите по обочине, а не по путям».

С нами шел и польский солдат. В первый же день он потерял свою часть, как Швейк. Он все время повторял: «Той Польши больше не будет. И слава Богу».

Так мы добрались до Варшавы, до Виленского вокзала, где немцы хотели нас арестовать, так как мы оказались на территории военного объекта.

Оккупацию я провел в Варшаве. Сначала работал рабочим на строительстве дома в районе Саска Кемпа. Потом пошел добровольцем работать в больницу.

До войны у меня в банке были деньги, десять тысяч злотых. Один раз, после долгого стояния в очереди, я снял со счета 50 злотых. Остальные — после войны, как раз хватило мне и жене на билеты из Щецина до Закопане.

Родители до войны продали дом в Добжине. 33 тысячи злотых и жемчуг они положили в сейф в Торговом банке. К сожалению, во время бомбежки банк сгорел. Обгоревшие деньги родителям поменяли на «млынарки» [оккупационные деньги, Млынарский — председатель Польского банка]. Жемчуг от высокой температуры потускнел. Маме он достался от моей бабушки — Нечаевой. Я потом подарил его моей жене.

В 1941 г. мы с Ниной повенчались в церкви на Праге [правобережная часть Варшавы]. Поселились мы на улице генерала Зайончека.

Во время Варшавского восстания, 5 августа, в день моих именин, был прекрасный солнечный день, я вышел во двор с восьмимесячным сыном Игорем. Ворвались солдаты из находившейся поблизости Цитадели и взяли меня и еще 35 человек в заложники. Днем мы носили немцам продовольствие и боеприпасы, на ночь нас запирали в казематах. Однажды днем отсчитали пятерых и велели им остаться. Мы им завидовали, думали, что они свободны. Потом их расстреляли.

Через две недели нас выпустили и, как большинство варшавян, выгнали из Варшавы. Мы шли в сторону Прушкова.

По дороге я встретился со своей семьей. Мы все оказались в Скерневицах, в доме, который когда-то арендовал дедушка Нины, помощник лесника в Звежинце возле Скерневиц. Там нас и застало освобождение. Оттуда по шпалам мы добрались до Варшавы.

Самым главным для меня было завершить учебу. Я закончил ее в Познани в июне 1945 года. Стаж проходил в Лодзи и Калише.

После войны была очень большая потребность в военных врачах. Но условия работы для этих врачей были в то время очень плохими. Меня загребли в армию. Там я оказался среди четырехсот врачей-выпускников вузов на курсах переподготовки для офицеров. Каждый, как мог, спасался от армии. Но не я. Самым главным там был советский генерал Огурцов.

Он сказал: «Даже если вы напишете, что у вас дядя в Америке, что вы были в подполье, ничего вам не поможет. Все будете служить в армии». И некоторые писали о дядях, демонстративно молились на коленях. Уволили только меня. Причина: беспартийный, беженец из России, тесть — до войны секретарь синода.

В 1947 г. мы поселились в Щецине. Там была работа и квартира для нас с детьми (у нас уже было двое сыновей — Игорь и Александр).

Даже в 1953 г. еще отзывались эхом предвоенные годы. На улице в Щецине подошел ко мне здоровенный детина, сотрудник госбезопасности: «В 1937 году вы плохо отзывались о Советском Союзе. Вы входили в антисоветскую организацию, приехали в Щецин, чтобы перебрасывать людей на Запад». Вывод был следующий: «Для того, чтобы искупить вину, предлагаем сотрудничать».

Я отказался. Всю ночь меня продержали в крошечной комнатке на чердаке в одной из щецинских гостиниц.

Я работал в Щецине в больнице. В 1952 г. получил степень кандидата медицинских наук. И вот в 1953 г. умер Сталин. Оттепель. Из Советского Союза приходят добрые вести. Я чувствовал себя русским. Считал, что мое место в России. Жена была со мной согласна.

Мы поехали в Советский Союз. Я, жена и пятеро детей (Игорь, Александр, Лидия, Наталья и Федор). Набор гданьской мебели, купленный в Щецине, я отправил отдельно.

Остановились мы в Кисловодске, одном из кавказских курортов.

— С Запада в Советский Союз? — удивлялись все. — Наверное, их сослали за какие-то прегрешения.

К сожалению, там у нас не сложилось. Во-первых, не было квартиры. Нас разместили в маленьком помещении изолятора. Я все время ждал мебель, которая все не приходила. Врач из Кисловодска говорил: «А я беспокоюсь, что будет, когда эта мебель придет. У меня нет для нее места». И мебель, действительно, пришла. Библиотечные шкафы, комод, письменный стол — тяжелая мебель, оставшаяся от немцев, стояла в парке санатория. А рядом с нею пианино. Бывало, прохожие играли на нем по ночам.

С трудом мы получили квартиру. Кое-кто из коллег-врачей, ожидавших получения квартиры десятки лет, был возмущен.

К сожалению, там по-прежнему господствовал страх. Я уже не соответствовал тому менталитету.

В приступе отчаяния я написал письмо Хрущеву. И получил из приемной Кремля подтверждение его получения. Я жаловался на то, что нет квартиры, нет клиники, в которой я должен был работать, и т.д.

Я прочел это письмо коллеге, показал уведомление из Москвы. Он побледнел: «Умоляю, никому даже не говори, что ты мне такое письмо прочитал. Ведь из этого письма следует, что тут нельзя жить».

Потом меня посетил директор института и начал мне выговаривать за то, что я вечно недоволен. А я ему в ответ:

— Согласен, я обо всем этом написал письмо Хрущеву.

Он был совершенно ошарашен.

Но вскоре наше положение улучшилось. Мы начали получать продовольственные пайки из местного хозяйственного управления.

Моей специальностью была ревматология, а ближайшее отделение по этому направлению находилось в Сочи.

Там готовились проводить съезд ревматологов. Однако без приглашения меня никто бы туда не пропустил. В тамошнем институте получили сложную аппаратуру для исследования сердца, с инструкцией на английском, французском и немецком. Я перевел инструкцию. Взамен доктор, которую звали Идея Белая, достала для меня приглашение.

Вместо отпуска в Сочи мы поехали в Польшу. Спустя месяц в Щецине я начал работать в той же самой больнице, в которой работал до отъезда.

Гданьская мебель осталась в Кисловодске навсегда.

О том приключении, которое мы пережили на рубеже 1958-1959 гг. в России, я не жалею по сей день.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС НАТО В ЩЕЦИНЕ

Беседа с генерал-лейтенантом Эгоном Раммсом — командующим многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток» в Щецине

— Пять лет назад в Щецине был создан многонациональный корпус НАТО «Северо-Восток». С какой целью?

— После вступления Польши в НАТО в марте 1999 г. министры обороны Дании, Германии и Польши подписали соглашение об организации в Щецине командования многонационального корпуса, в состав которого вошли военнослужащие этих трех стран. Целью его создания было проведение совместной подготовки солдат и боевых учений, приобретение опыта, а также — в будущем, после достижения полной боевой готовности, — совместные действия.

Такой подход к нашему военному сотрудничеству, к тому, что делает сегодня Североатлантический пакт для мира во всем мире, позволяет нам утверждать, что каждая из поставленных задач — таких, как, например, в Боснии и Герцеговине или Афганистане, а для поляков еще и в Ираке, — с военной точки зрения была выполнена многонациональными силами эффективно и успешно.

— Это значит, что сила корпуса — в его многонациональной структуре?

— С военной точки зрения создание международных сил весьма важно: совместные действия всегда приводят к более значительным результатам. Более десяти лет назад, когда Германия была уже в НАТО, а Польша — еще в Варшавском договоре, ваша страна сыграла существенную роль в его ликвидации, а также в создании новой Европы. Так что я смело могу сказать, что именно с Польши в 80-90-е начались качественные перемены в Европе.

Кроме того после восстановления полной независимости на рубеже 80-90-х гг. Польша совместно с другими странами, бывшими членами Варшавского договора, постановила вступить в структуры НАТО. Еще тогда Польша приняла решение о создании, и как раз в Щецине, международного корпуса, чтобы там проходили подготовку военнослужащие нескольких стран, сотрудничающих друг с другом в рамках НАТО. Речь шла о создании международных вооруженных сил, способных предпринимать совместные военные действия, несмотря на то что до этого у них были разные уставы, процедуры, системы подготовки и, наконец, совершенно различный опыт. Таким образом, в соответствии с девизом, помещенным на нашей эмблеме, речь шла о создании «Корпуса нового тысячелетия».

— Легко ли удается преодолеть такие барьеры, как многонациональность, язык и культура?

— Нам хорошо известно, что подобная разнородность иногда приводит к определенным трудностям, но эти трудности вполне можно преодолеть. Пять лет назад, когда был создан корпус, наше сотрудничество складывалось совершенно иначе, чем сегодня, когда мы уже представляем собой единый организм, который может совместно браться за решение поставленных задач и успешно их выполнять. Дело в том, что наши солдаты и офицеры за это время смогли лучше узнать друг друга и подружиться. Благодаря этому сегодня они лучше понимают и дополняют друг друга в совместных действиях.

Однако проблемы, связанные с многонациональным сотрудничеством, могут повториться, когда в состав нашего корпуса войдет очередное пополнение из стран Прибалтики, Чехии, Словакии или (быть может, в свое время) Финляндии. И все-таки мы надеемся, что при использовании уже накопленного нами датско-немецко-польского опыта процесс нормализации будет проходить значительно быстрее.

— Какие важные события произошли за последние пять лет в вашем корпусе?

— Самым важным, разумеется, было принятое в 1999 г. нашими тремя странами решение, в результате которого в этой части Европы появилось новое воинское формирование. В силу самого этого факта польская армия была включена в сотрудничество в рамках новых структур НАТО.

Начало этого сотрудничества, как это бывает почти всегда и везде, было нелегким. Нам потребовался год-два, чтобы как следует сплотиться в единый организм. В этой интеграции нам помогли совместные учения — в частности, «Хрустальный орел» в 2000 и 2003 гг., «Общий дух» (2001), «Твердое решение» (2002), а также «Временный потенциал» (2003). Подготовка, проводившаяся в течение нескольких лет, и ежегодные учения дадут нам в результате возможность достичь двух важнейших программных целей — военной и воспитательно-подготовительной интеграции. Мы стремимся к тому, чтобы наш корпус был во всех отношениях похож на другие, столь же сплоченные формирования НАТО.

Мы намерены уже в ноябре 2005 г. достичь полной оперативной готовности, что позволит солдатам нашего корпуса при необходимости участвовать в зарубежных операциях НАТО.

— Многонациональный корпус в Щецине будет расширяться и принимать в свои ряды новые страны бассейна Балтийского моря...

— К счастью, эпоха «холодной войны» уже миновала — и, надеемся, бесповоротно. Тем не менее мы должны быть готовы сражаться, но не против какого-то конкретного противника. У НАТО нет врагов, и эта организация ни против кого не направлена. Сегодня Европа стабильна, но нельзя исключить, что в будущем мы все-таки потребуемся: сегодня никто не в состоянии предвидеть все будущие мировые кризисы.

— Как вы оцениваете польских военнослужащих в многонациональном корпусе?

— Они изменились в лучшую сторону. Теперь подобный процесс ожидает новых членов НАТО из Прибалтики, и он будет довольно длительным, как и в случае вашей страны, Чехии и Венгрии.

Приведу вам пример. Германия вошла в НАТО в 1956 году. Немецкие военнослужащие смогли участвовать во всех действиях вооруженных сил пакта и на всех его уровнях лишь с начала 70-х. Таким образом, процесс полной адаптации занял у нас около 15 лет. Что касается Польши, то хотя она еще не полностью к этому готова, но достигнет аналогичной степени готовности в значительно более короткие сроки. Эта моя оценка основана на конкретных наблюдениях сегодняшних действий Польши.

По нашему мнению, расширение нашего корпуса путем включения в его состав других стран бассейна Балтийского моря с целью поддержания мира в нашем регионе — удачное решение на ближайшее будущее. В связи с этим было бы неплохо, если бы к сотрудничеству с нами в рамках программы «Партнерство ради мира» приступили также правительства Швеции и Финляндии, тоже члены Евросоюза.

— Вот уже несколько месяцев вы командуете многонациональным корпусом в Щецине. Какие у вас впечатления от Польши?

— Командующим корпусом я стал с середины февраля этого года, а с апреля живу в Щецине уже с женой. Наши впечатления о Польше и об этом городе самые лучшие. Вчера мы с женой говорили о наших соседях. Мы ими очень довольны. Живем мы на улице, где кроме нас живут только поляки. Они с удовольствием помогают нам. Мы разговариваем с ними, насколько можем. Многие из них говорят по-английски и немного по-немецки. Когда мы встречаемся по утрам, то здороваемся друг с другом и беседуем о местных делах. Некоторые соседки иногда берут мою жену с собой, когда идут по магазинам, в парикмахерскую и тому подобные места. Все это для нас очень приятно. Жена сказал мне, что она по-настоящему рада, что ей довелось жить в Щецине.

Хорошие отношения у нас и с местными властями — воеводой и президентом города. Мы вместе обсуждаем, например, как отметить государственный праздник или День Войска Польского.

— Так будем же и дальше сотрудничать ради блага Европы и региона. Спасибо.

Беседовал ***Лешек Вонтрубский***

Петр Черёмушкин

ПАН ПРОФЕССОР С ЛЕНИНСКОГО ПРОСПЕКТА

или

Мой дед, каким я его помню и люблю

Передо мной разбросаны фотографии: старые, пожелтевшие и более современные — цветные. На них мой дед. Молодой, каким я его никогда не видел. В смешной фуражке на групповом снимке выпускников Ялтинской гимназии. Грустный и худой — фотография 20-х годов XX века отлеплена с какого-то удостоверения, возможно, со студенческого билета Московского университета. Жизнерадостный и веселый — играет в чехарду с университетскими друзьями. На переднем плане согнул колени, чтобы подставить спину для прыжка следующему, молодой Андрей Николаевич Белозерский, именем которого теперь названа лаборатория МГУ. Кому-то из них суждено погибнуть на фронтах Второй мировой, кому-то сгинуть в лагерях, кому-то, наоборот, выйти из лагеря и продолжить заниматься наукой. На большой парадной фотографии с церемонии вручения орденов в Кремле дед стоит в группе академиков — во втором ряду, рядом с со своим другом Евгением Николаевичем Мишустиным. В первом ряду на снимке нобелевский лауреат, изобретатель лазера Александр Михайлович Прохоров. В последнем — молодые Примаков, Сагдеев, Аганбегян, Петраков. На другой цветной фотографии дед уже очень старый — стоит в саду на даче, в синей куртке, опирается на палку. Перед ним цветет любимый клематис, который был предметом трепетного ухаживания на протяжении нескольких лет. Вокруг летняя листва, розы, крыльцо, на котором столько было споров о Горбачеве и Ельцине, Сталине и Хрущеве, столько воспоминаний, рассказов... Вот еще фотографии: дед доволен, хотя выглядит совсем стариком. Он в мантии и шапочке почетного доктора. Его окружают польские профессора-биохимики. Это Познань — сюда после II Мировой войны переселили поляков, живших в Белоруссии и Литве, на Виленщине. Они такие же крестьянские дети, как и дед. На снимках видно, что у деда и у поляков словно по одному лекалу сделаны затылки, подбородки и носы. Эти заметные наметанному глазу антропологические признаки делают похожими и Эдварда Герека, и Кароля Войтылу, потому что они одной национальности. Они поляки.

Профессор Вацлав Кретович

В конце 60-х — начале 70-х годов в Москве возникла мода на Польшу. Интеллигенция искала и находила в польских газетах и журналах, которые тогда свободно продавались в киосках, подтверждение своим сомнениям в отношении режима, а люди попрактичнее ехали в Польшу за хорошей кожаной галантереей. Во всяком случае для обеих категорий граждан Польша стала окном на Запад. Были популярны польские эстрадные певицы — Анна Герман, Эдита Пьеха. По Москве бродили польские студенты и аспиранты, которым учеба в СССР открывала новые ступени для карьерного роста в своей стране. В это время появилась телевизионная передача «Кабачок 13 стульев», стилизованная под польское кабаре-шоу. В ней выступали популярные артисты Театра сатиры. Среди персонажей пан Ведущий, пани Моника, пан Спортсмен, пан Таксист и пан Профессор в исполнении Бориса Рунге — непрактичный, нескладный, иными словами, не от мира сего, но, по замыслу авторов программы, типичный польский ученый. Совершенно непохожим на этого комического персонажа был мой дед Вацлав Леонович Кретович — тоже пан профессор, хотя по большей части он отзывался на

обращение «товарищ». Советское выражение «братская Польша» он воспринимал со всей серьезностью.

О том, что мой дед — поляк, я узнал лет в пять, когда заинтересовался, почему он читает написанную латиницей газету «Трибуна люду» и краковский еженедельник «Пшекруй» — лет двадцать назад столь популярный среди зарубежных поляков. Со своим братом, дядей Эдиком, он разговаривает на странном языке, напоминающем исковерканный русский. Бабушка называет деда Вацек. Больше ни у кого вокруг нет деда с таким странным именем — это я знаю точно. Впрочем, это не единственное, что отличает моего деда от других. Ему звонят по телефону и спрашивают совета, ему приходят поздравительные открытки и приглашения на всякие торжественные заседания. С дедом иногда почтительно здороваются на улице, ведь наша квартира на Ленинском проспекте, где живут в основном сотрудники Академии наук СССР. Но чаще всего я вспоминаю деда за работой, склонившимся над бумагами. Летом, на даче, в субботу или в воскресенье он что-то пишет, переделывает. Лежа на диване, тихо проговаривает свои лекции, чуть шевеля губами. Таким я помню его в 70-е годы, когда моему дедушке было за семьдесят.

Каждое утро он встает раньше всех в квартире и готовится идти в институт, всегда в одно и тоже время. Очень раздражается, когда что-нибудь мешает его раз и навсегда установившемуся расписанию. В среду он едет на машине с водителем в пищевой институт, где преподает уже десятки лет. (Точнее говоря, тридцать лет возглавлял он кафедру биохимии и зерноведения Московского пищевого института). Мой дед Вацлав Кретович (Wacław Kretowicz, 1907-1993) — член-корреспондент Академии наук СССР, заместитель директора Института биохимии АН СССР. В 1972 г. учебник «Основы биохимии растений», написанный дедом, получил в СССР Государственную премию. Сейчас, когда я оказываюсь на Западе и встречаю русских биологов, коих так много разбросано по белу свету, они вспоминают, как сдавали экзамен по биохимии «по Кретовичу». В Швейцарии и Великобритании, не говоря уже о США, меня встречают старые коллеги деда, его ученики, бывшие аспиранты. Одна моя знакомая выпускница химфака МГУ, которая теперь работает в крупной западной компании, как-то сказала: чтобы заниматься той областью науки, которой занимался мой дед, недостаточно просто способностей и научного таланта — нужно быть еще более талантливым и «въедливым», чем те, у кого есть научные способности и талант. Пишу об этом без ложной скромности, потому что знаю: мне это не дано.

Однажды, в начале 80-х, дед решил взять меня с собой на торжественное собрание, посвященное вручению переходящего красного знамени Институту биоорганической химии имени М.М.Шемякина (были тогда такие мероприятия). Дед прямо сказал: «Хочу, чтобы ты увидел всех знаменитостей нашей науки». Собрание проходило в кинотеатре «Октябрь», ныне ставшем жертвой «спора хозяйствующих субъектов» и временно пребывающем в запустении. Но тогда в фойе торговали вкусными пирожками и пирожными, наливали чай, а в президиуме сидели столпы советской науки: академики В.А.Котельников, Ю.А.Овчинников, А.А.Баев. Были также некоторые секретари ЦК КПСС, министры — уже не помню какие. Выступал президент академии Анатолий Петрович Александров. Меня тогда удивило, как по домашнему все это происходило. Несмотря на наличие президиума все вели себя как старые знакомые, общающиеся между собой едва ли не каждый день. Очень хорошо помню, как А.П.Александров почему-то с трибуны произнес нечто не имеющее прямого отношения к происходящему: «Мы сказали Алексею Николаевичу (Косыгину. — *Авт.*), что запасов нефти едва хватит к началу XXI века, поэтому нужно продвигать и развивать атомную энергетику». До Чернобыля оставалось чуть меньше пяти лет.

Когда встал вопрос о выборе моей специальности, дед не строил иллюзий насчет того, что из меня выйдет биохимик. Он видел мою склонность к изобразительному искусству, тем более что другие мужчины в доме были художниками — и мой отец Герман Черёмушкин, теперь уже заслуженный художник, лауреат и профессор, и брат бабушки Азарий Коджак — представитель «тихой графики» 60-х. И брат бабушки, и отец имели различные взгляды на искусство и принадлежали к разным школам. К тому же по характеру они очень отличались друг от друга. Азарий, ученик Фаворского, в воспитании художника отдавал предпочтение более мягким методам, чем отец — выпускник Строгановки конца 50-х, классический соцреалист и, можно сказать, представитель «сурового стиля» 60-х. Дед наблюдал за художниками в своем доме без восторга.

Не приветствовал он и мои скульптурные и живописные экзерсисы. Он считал, что искусством можно зарабатывать на жизнь, лишь имея волчий характер (коим я не обладал), иначе придется

бедствовать. К тому же, говорил он, следует профессионально заниматься искусством, только если умеешь рисовать как Дюрер. Поэтому он всячески заставлял меня заниматься иностранными языками, а в качестве хобби приветствовал увлечение фотографией. В конечном счете именно этим я и стал зарабатывать на жизнь. То, что Вацлав Леонович уделял огромное внимание изучению иностранных языков, помнят и все его сотрудники, и, конечно же, я, которого он волей или неволей пытался приохотить к чтению по-английски, к разговорному английскому. Сам же он, естественно, читал научную литературу в оригинале и по-немецки, и по-французски.

Французскому языку особое предпочтение отдавала бабушка, крымская караимка, Анна Федоровна (Юфудовна) Коджак. Она любила Анри Труайя, книги которого появлялись тогда в Москве только по-французски, любила французских поэтов и художников-импрессионистов, а особенно Сезанна и Матисса. У изголовья ее кровати всегда лежала книга на французском языке. Из современных художников бабушка с дедом больше всего ценили Мартироса Сарьяна, как известно, весьма отмеченного влиянием французского искусства. Они знали Сарьяна лично. Дед всегда вспоминал, как художник, уже старым человеком, гулял по парку санатория Академии наук «Узкое» и собственноручно собирал всякие бумажки и мусор, словно считал своим долгом исправлять чужую неаккуратность.

Чаще всего наше с дедом общение происходило на даче в Ново-Дарьине, академическом поселке на 1-м Успенском шоссе между станцией Перхушково и Николиной Горой, куда он ездил и летом, и даже зимой, после того как в 70-е годы туда провели природный газ и центральное отопление. На втором этаже у него был кабинет, где в большом количестве собирались американские журналы «Scientific American», в которых меня интересовали не столько научные статьи, сколько рекламы иностранных автомобилей, бывшие в то время диковинкой. На даче часто общались с соседями, особенно с Евгением Николаевичем Мишустиным (выдающийся советский микробиолог, академик), который приходил к деду, и они вместе слушали западные радиоголоса, обсуждали последние политические события. Стук палочки Евгения Николаевича был слышен по дорожке, а дед высматривал через забор, не идет ли его любимый Миколаич (как мы сокращенно называли Мишустина). Евгений Николаевич появлялся и говорил: «Ну что, Вацленч, послушаем, что они там бибисикают?» Помню, темой, интересовавшей их больше всего, были объемы закупок Советским Союзом зерна, прежде всего в Канаде. Неизменным предметом обсуждения были две противоположные личности советской науки — Сахаров и Лысенко. Иногда они в очень небольших дозах пили португальский портвейн или херес и закусывали бабушкиным пирогом.

Вместе с Евгением Николаевичем дед объездил много стран, в том числе США, Испанию, Великобританию. Они даже побывали в далекой Новой Зеландии. Их объединяли научные интересы и совместная борьба с представителями лженауки, часто пользовавшейся поддержкой партийных властей. Соблазн малыми средствами накормить народ, испытывавший постоянный дефицит в продуктах питания, искушал советскую власть со времен Лысенко. Поэтому время от времени отдельные партийные руководители поощряли завиральные идеи или гипотезы вроде той, что человек может усваивать азот прямо из воздуха, а потому не нужно ему колбасы. Но в 70-е годы голоса здравого смысла было не так легко заткнуть, как во времена «великого вождя» и Никиты.

И Евгений Николаевич, и дед пытались противостоять идеям, с их точки зрения несовместимым с наукой, и бросали на это весь свой авторитет. Мировоззрение и взгляды Вацлава Леоновича Кретовича в чем-то очень напоминали то, о чем сейчас говорит нобелевский лауреат 2003 года по физике Виталий Лазаревич Гинзбург, наш сосед по Ново-Дарьину. Незадолго до смерти дед набросал черновик своего письма на телевидение, где одним из тезисов было «засилье попов». Вацлав Леонович весьма скептически относился к проявлениям религиозности, тем более показным. Он был крещеным католиком, но никогда не соблюдал праздников, обрядов, не говоря уже о том, чтобы ходить в костел. Это даже не обсуждалось. Хотя мать В.Л.Кретовича Янина Фаддеевна (Тадеушевна) — была католичкой и соблюдала все обряды и праздники. Когда в 1949 г. она умерла в Горьком, потребовалось специальное разрешение местного митрополита, чтобы похоронить ее на православном кладбище. Дед часто вспоминал свои детские годы в Ялтинской гимназии, когда его выставляли за дверь с уроков Закона Божьего как иноверца. И он вынужден был дожидаться в коридоре, когда закончится этот урок. Дед всегда говорил: «С тех пор не люблю попов». Его любимой книгой оставались воспоминания Чарльза Дарвина о путешествии на корабле «Бигль». Поскольку первыми его наставниками в науке были такие лю-

ди, как Тимирязев, Бах, Прянишников, Кизель, он, конечно, унаследовал от них материалистические традиции естествоиспытателей XIX века.

Воспоминания о дореволюционной России и особенно о Ялте я слышал постоянно. Любимым совместным чтением бабушки и деда (они оба родились в этом прекрасном южном городе) было чтение путеводителя по Ялте. Дед очень любил вспоминать, как выглядел царский кортеж при прибытии императора в Ливадию. По много раз я слышал этот рассказ и сегодня словно слышу его голос: «Первым на иноходце ехал полицейский, татарин Мустафа с нагайкой в руке, во втором экипаже ехал градоначальник Ялты генерал Думбадзе. Затем ехали Николай II с Александрой, потом экипаж с царевнами, а потом экипаж с наследником и его воспитателем матросом Деревянко». Помню, тогда меня даже раздражало это перечисление, услышанное в шестой, в восьмой раз, но сегодня я бы многое отдал, чтобы услышать его заново...

Дед прожил долгую жизнь, начавшуюся в царской империи и закончившуюся в России, провозгласившей себя демократической. Вся жизнь его прошла в советской России, которой он был лоялен, несмотря на то, что хорошо понимал ее изъяны. Он был организованным человеком и считал, что следует соблюдать сложившийся порядок вещей. Внимательно следил за политикой, но участия в политической жизни сторонился. Этим, кстати, он объяснял то, что ему — поляку — удалось выжить при советском режиме. Ангелом-хранителем деда в сталинские времена был академик Алексей Николаевич Бах — основатель Института биохимии и революционер-народоволец, которого Сталин не трогал. В архиве В.Л. сохранилась пожелтевшая бумажка, подписанная академиком Л.А.Орбели. Она датирована апрелем 1943 года. В это время Академия наук СССР находилась в эвакуации в Казани, а дед с академиком Бахом пребывали во Фрунзе. В выписке сказано: слушали ходатайство академика А.Н.Баха об утверждении доктора биологических наук В.Л.Кретовича в должности заведующего лабораторией. Постановили: утвердить доктора биологических наук В.Л.Кретовича в должности заведующего лабораторией Биохимии Хлебопечения Института Биохимии Академии Наук СССР (сохранена орфография оригинала).

Во время Великой Отечественной войны и после нее в ряде районов нашей страны распространилось тяжелейшее заболевание «септическая ангина». Оно вызывалось употреблением в пищу зерна, перезимовавшего в поле под снегом. При этом в зерне развивался грибок. Лаборатория Кретовича была привлечена к расшифровке этиологии этого заболевания. В результате исследований были разработаны методы распознавания ядовитого зерна, исследованы его биохимические особенности и предложены способы использования зерна. Этим дед занимался во время войны. Человеком он был щепетильным и, учитывая, что сам на фронте не был, с подчеркнутым уважением относился к воевавшим ровесникам. Сам факт пребывания человека на фронте был в его глазах своего рода индульгенцией. Впрочем, и участники войны, окружавшие его, были людьми весьма достойными.

Я несколько раз спрашивал деда, что могло уберечь его, когда в 1938 г. Сталин методично расправлялся с латышами и поляками. Он считал, что спасло его случайное стечение обстоятельств. Во время кампании по уничтожению поляков, которую организовал Сталин, дед был в командировке в Борисовском зерносовхозе Омской области, где проводились исследования по рациональным режимам сушки зерна. За ним приходили и даже один раз вызывали по повестке. Позже он явился, как часто рассказывал, к товарищу Кочеткову. В прокуренной комнате сидела большая группа чекистов. Дед спросил: «Кто здесь товарищ Кочетков?» Подошел человек, взял в руки повестку, прочитал и пригласил деда в соседнюю комнату. Там он еще раз прочитал ее, порвал и сказал: «Можете быть свободны, товарищ Кретович». Дед предполагал, что к тому времени, когда он вернулся из Омской области, план по полякам они уже выполнили.

Чувство опасности у него было развито чрезвычайно. Например, главное, что он старался внушить мне, когда я начал работать журналистом, так это «быть всегда осторожным». В начале 30-х он в какой-то момент своих визитов в организацию «Дом польский» в Москве, почувствовал, что все эти собрания могут кончиться плохо и перестал туда ходить. Вскоре «Дом польский» разогнали.

Когда я оглядываюсь на свою судьбу с позиции зрелого человека, родившегося во второй половине XX века, то понимаю, насколько мне повезло, что у меня в принципе был дед. Что и в сталинские годы, и в мясорубке II Мировой войны он выжил. Его и самого это удивляло. Я вспоминаю, как в конце 80-х годов одна из ближайших подруг моей мамы Валентина Игнатьевна Стыврина, отца которой, латыша и коммуниста, расстреляли в 1938 г., пришла к нам с Лубянки, где ей

показали дело отца. Дед лежал на диване и говорил: «Валя, Валя, как же они не тронули меня? Как же я спасся?»

В.И.Стыврина вспоминает, что, когда взяли ее отца, почти все соседи по подъезду и по коммунальной квартире «отвернулись от нас с матерью, и только Вацлав Леонович с Анной Федоровной звали меня в гости, всячески приваживали и никогда не запрещали Марине общаться со мной». У большинства близких подруг моей мамы, Марины Вацлавовны Кретович, отцы были репрессированы в сталинские годы. Мне кажется, то, что и мама, и бабушка с дедушкой вовсе не чурались родственников репрессированных, не случайно. Кретовичи глубоко переживали судьбы безвинно погибших людей. В зените перестройки, в 1990 г. В.Л. написал письмо президенту АН СССР Г.И.Марчуку с предложением «опубликовать в широкой печати список с биографиями всех погибших ученых и пополнять его, делая запросы в отделения Академии, с тем, чтобы ни одно имя не было забыто». Такая книга вышла в издательстве «Наука» в 1995 году. Но еще в 1984 г. В.Л.Кретович написал и опубликовал брошюру «Очерки по истории биохимии в СССР», где упоминает имена ученых, долго замалчивавшиеся из-за того, что они были репрессированы.

За политикой Вацлав Леонович следил всегда очень внимательно. Он коллекционировал иностранные газеты и журналы, в которых без купюр говорилось о памятных исторических событиях. Там я прочитал доклад Хрущева на XX съезде, открытое письмо Федора Раскольникова Сталину. Именно из этого архива я впервые узнал имя генерала Власова, который к моему тогдашнему удивлению оказался героем битвы за Москву. У деда в этой коллекции складывались британские журналы «Picture Post», где были интереснейшие фотографии и карикатуры на Гитлера, Сталина, Черчилля. По тем временам крамола. История из этой коллекции представала не такой, какой ее проходили в советской школе. Несомненно, существование этой коллекции повлияло на то, что я захотел стать журналистом — летописцем и свидетелем истории.

На моей памяти политика стала особенно задевать деда в конце 70-х — начале 80-х. Очень близко к сердцу он воспринял исламскую революцию в Иране. Для него казалось непостижимым, что в конце XX века к власти в крупнейшем государстве Востока приходят мракобесы средневекового образца. Очень жалел иранского шаха, который казался ему цивилизованным правителем. Когда советские войска вошли в Афганистан, он переживал это как личную трагедию. События в Польше, появление движения «Солидарность» бурно обсуждались в нашем доме. Причем мама и дед занимали совершенно противоположные позиции. По всей видимости, под влиянием «Трибуны люду», органа ЦК ПОРП, он весьма критически воспринимал профсоюз «Солидарность». Сегодня это прозвучит не модно, но факт остается фактом: ему не нравился Валенса. Он считал его болтуном и бездельником и все время говорил, что по-польски «валенсаться» значит «слоняться без дела». И еще употреблял такое выражение «Польска нежондем стои», которое на русский можно перевести приблизительно как «устой Польши — беспорядок». И из всех польских политиков того времени дед выделял примаса Польши кардинала Стефана Вышинского, который выступал в роли амортизатора между властями и оппозицией. Восхищался личностью кардинала Войтылы, когда тот в 1978 г. стал Папой римским Иоанном Павлом II. Позже дед рекомендовал мне написать диссертацию о роли Церкви в политической жизни Польши.

Декабрь 1979-го был очень морозным. Мы отправились на дачу и не смогли там находиться даже на втором этаже, где всегда было тепло. В конце концов не выдержали, оделись потеплее, вышли на дорогу и остановили попутную черную «волгу». Водитель стал жаловаться, что на таком морозе новые «чайки» не могут ездить — только «волги», потому что у «чаек» застывает масло в их английских, автоматических коробках передач. В ту зиму померзло множество деревьев, яблонь. Наступали 80-е годы, которые несли с собой необратимые перемены.

Кстати о «чайках» и об отношениях В.Л.Кретовича с властью. Любопытно, что многие советские министры и заместители министров были его знакомыми (Елютин, Прокофьев, Егоров — министерство высшего образования и министерство просвещения). Очень хорошо помню часто упоминавшееся им имя — Вольдемар Петрович Леин, министр пищевой промышленности СССР. Из советских начальников первой величины Вацлав Леонович вспоминал Микояна, который приглашал его к себе, чтобы проконсультироваться об организации реэкспорта зерна. Дед всегда говорил, что Микоян был самым умным человеком, которого ему доводилось встречать в жизни. «Умным в практическом смысле, конечно», — неизменно добавлял он. В.Л. иногда вспоминал, что в своей жизни знал двух глав госу-

дарств, двух президентов. Одним их них был Николай Викторович Подгорный, занимавший должность председателя президиума Верховного совета СССР, а до того бывший ректором Московского пищевого института. Вторым — президент Израиля Эфраим Кацир (Качальский), известный биохимик, избранный в 70-е годы президентом еврейского государства. Дед оказался с ним на соседнем сиденье в экскурсионном автобусе на одном из международных биохимических конгрессов. Дед отмечал, что Кацир был очень симпатичным человеком, свободно владевшим как русским, так и польским языками.

Некоторые из советских начальников защищали диссертации (В.Л. был членом Высшей аттестационной комиссии); другие хотели пройти в Академию наук, третьи стремились получить Государственную или Ленинскую премию, а дед был членом комитета по присуждению премий, и поэтому нам время от времени звонили из высоких приемных, поздравляя с праздниками или юбилеями. Нормальные люди тоже поздравляли — приходили письма и открытки из-за границы: до сих пор в толстой папке с открытками у меня лежит письмо в виде пластинки из Японии. Открытки из Киргизии и с Украины. От академика Дарканбаева из Алма-Аты и от Сергея Васильевича Дурмишидзе, вице-президента Грузинской академии. (Недавно я увидел портрет С.В. в роскошном альбоме «Вина Грузии» и вспомнил, как любил дед виноделов и как много у нас в доме было вина.) В Ново-Дарьине бывали Жанна Васильевна Успенская, Роза Рафаиловна Токарева, Зинаида Гавриловна Евстигнеева, Валерий Романович Шатилов. Иногда приезжал знаменитый нейрохирург и обаятельнейший человек, лечивший мою маму, Габиб Абдуллаевич Габибов с сыном, ныне членом-корреспондентом РАН А.Г.Габибовым. На дачу и домой приезжали и звонили аспиранты: Гурам и Георгий из Грузии, Ахат из Ташкента, Овик из Еревана...

Но вернемся к министрам. Они присутствовали в нашей жизни и возбуждали мой детский интерес. Двух или трех обитателей дачного поселка Ново-Дарьино обслуживали служебные «чайки», которые полагались министрам СССР, заведующим отделами ЦК КПСС и вице-президентам Академии наук. В частности, одного из них, министра геологии СССР — был тогда и такой, — обслуживала машина, номер которой я помню до сих пор: 11-77 МОС. Хром и полировка этой «чайки» были хорошо видны со стороны нашего участка и завораживали мое воображение. Однажды я по наивности спросил: «Дедушка, а как становятся министрами?» Полученный ответ подкупал простотой и лаконичностью: «Очень просто — по рекомендации». Пожалуй, только сейчас я могу оценить точность этого ответа, который показывает глубокое понимание того, как функционировала советская (как, впрочем, и любая) система власти.

В Ново-Дарьине соседи состязались между собой в садоводстве и в красоте разводимых цветов. Этим дед увлекался по-настоящему. Он привез из Швейцарии семена альпийских анемонов и посадил их возле специально найденных камней. В подарок от Александра Ивановича Опарина он получил чайные розы и примулы. В Голландии купил луковицы черных тюльпанов «Queen of the Night» — «Королева ночи». Потом их выкопали и украли, из-за чего дед очень огорчился. Теперь такие тюльпаны цветут на его могиле на Троекуровском кладбище. Розы были предметом его особой заботы. Ему присылали великолепные образцы этих благородных цветов из Алма-Аты и из Ботанического сада Академии наук. Одно из названий было очень красивым: «Утро Москвы». На даче он всегда держал под рукой секатор и садовый нож, чтобы подрезать дички на розах. Специальным мыльным раствором он и меня заставлял мазать листья роз, чтобы вывести всевозможных вредителей. Руки у него были в земле, чем он очень гордился. Он страшно разозлился на меня, когда я однажды отказался сажать тюльпаны из-за каких-то своих подростковых заскоков.

С миром живой природы он сосуществовал в полной гармонии. Стук дятла или вскрикивание сойки на даче воспринимал, как звуки музыки. Специально покупал сало, вешал его на крючке на крыльце дачи, чтобы наблюдать, как синички его клюют. Очень сокрушался, что в Подмосковье исчезли пчелы. Собаки и кошки любили его так же, как и он их. Например, на даче жил дикий кот, который ел только из его рук. Дед называл его Адик — «что значит Адиот», объяснял он. С собаками его симпатия была взаимной. Самые огромные псины, завидев деда, виляли хвостом и словно улыбались. Я вспоминаю это из-за того, что у меня отношения с собаками не складывались. То на меня набросится какой-нибудь сенбернар, то за мягкое место тяпнет ирландский сеттер. Он говорил: «Это происходит из-за того, что ты боишься собак, а я их не боюсь».

Может показаться странным, но дед помогает мне до сих пор своим чувством юмора и анекдотами, которые я услышал от него. Жена одного из

польских аспирантов В.Л. вспоминала, как он рассказывал анекдот, стоя на подножке отходящего поезда. Он коллекционировал письма, которые изобретатели и сумасшедшие писали в Институт биохимии. Сотрудники лаборатории Кретовича знали его любовь к цыганским песням и романсам. На 70-летие ему устроили капустник с цыганщиной. Доктора наук Василия Романова нарядили цыганом в платке и с серьгой в ухе. Под гитару сотрудники лаборатории пели множество стихотворных сочинений, стилизованных под романсы и припевы. Один из них все запомнили очень хорошо: «Если воздухом ты дышишь, знай, что в воздухе азот, лишь Кретовичу известен весь его круговорот».

Первое апреля было у нас в доме подлинным праздником. До совсем старческого возраста дед звонил по телефону своим или бабушкиным друзьям, чтобы разыграть. То, что он иногда проделывал, на современном языке называли бы приколами. Например, на 1 апреля приглашал какого-нибудь известного академика в ЦК КПСС для консультаций, а потом сообщал, что за ним уже выслали машину. На вопрос, какую, отвечал: мусорную. И вешал трубку. Однажды, уже после разоблачения культа личности, послал на 1 апреля своему приятелю, который терпеть не мог товарища Сталина, полное собрание сочинений указанного вождя. Как-то раз он позвонил на 1 апреля бабушкиной родственнице Наталье Иосифовне Катык. Позвонил и говорит: «Это товарищ Каймак?» А она отвечает: «Это ты, Вацек?» Он спрашивает: «Наташа, как ты меня узнала?» А она отвечает: «Просто в Москве не осталось никого, кроме тебя, кто помнит, как называлось кислое молоко у крымских татар».

Когда к нам пришли знакомиться родители моей бывшей жены, теща, женщина хотя и добрая, оказалась страшно болтливой, просто спасения никакого не было. Тесть, работавший в молодости советским дипломатом в Ираке, стал рассказывать, как в те годы один араб просил его продать жену — розовощекую и веселую. В конце вечера, когда гости собрались уходить, дед как бы невзначай заметил: «Зря вы ее тогда не продали». Конфуз был страшный. Анекдоты из репертуара армянского радио сыпались из него, как из рога изобилия. Любимейший был такой. У армянского радио спрашивают: где у нас в стране больше всего хлеба? Отвечаем: в котлетах. Другой: у армянского радио спрашивают, что нужно делать, чтобы иметь хорошую фигуру. Отвечаем: нужно крутить обруч. — А что делать, если обруч не налезает на фигуру? — Тогда не нужно портить такую хорошую фигуру. Рассказывалось это все с артистизмом Ираклия Андроникова. Иногда шутки были на грани фола. Когда его спросили, что он сделал с портретом Берии, который требовалось вырезать из Большой советской энциклопедии и уничтожить, он не без удовольствия ответил: «Мы им подтерлись».

Даже если судить по последнему упомянутому случаю, за словом дед в карман не лез, рубил сплеча, а иногда, особенно на старости лет, решения принимал под воздействием эмоций. Например, однажды он получил письмо из редакции журнала «Природа», где спрашивали: «Желаете ли вы в дальнейшем оставаться в составе редколлегии журнала?» Он немедленно ответил «Не желаю». Его почему-то возмутила сама постановка вопроса: желаете — не желаете... Что это значит? Я его отговаривал — мол, это чистая формальность, очередная перерегистрация, но он меня не стал слушать и потом признавался, что напрасно погорячился. Помню, его страшно раздражала критика Горбачева за недостаточную последовательность и неэффективность реформ. Он просто бросался с кулаками и едва ли не кричал: «Вы должны Горбачева в зад целовать за то, что он дал вам свободу!» Но, похоже, этическая сторона дела никого не волновала, не говоря уже о чувстве благодарности.

Перестройку он воспринял стоически и, как все, поначалу с воодушевлением. Но постепенно все беды, выпавшие на долю людей науки после распада Советского Союза и прекращения государственного финансирования науки, его доконали. В быту дед был человеком неприхотливым, довольствовался малым. Его любимой едой была пшенная или гречневая каша, он почти не выпивал и не курил. Зато неизменно следил за качеством хлеба, продаваемого в магазинах. Считал, что вкуснее «бородинского» в мире нет. Советское шампанское называл великолепным примером достижений нашей пищевой промышленности и с неизменным почтением отзывался о профессоре А.М.Фролове-Багрееве, внедрившем у нас акратофорный способ производства шампанского. К деньгам относился философски — легко расставался с ними, когда они были. В конце жизни опасался остаться совсем без денег, особенно после того как экономическая реформа «съела» все сбережения. Пойти к академическим властям и попросить какое-нибудь жизненное благо — новую квартиру, путевку в санаторий — было для него сущим наказанием.

Летним днем 1970 или 71-го года мы собрались с дачи ехать купаться на Москву-реку, к тому

самому мосту, с которого в конце 80-х упал будущий первый президент России. Стояли на автобусной остановке. Из нашего дачного поселка выезжала черная «волга» с антенной на крыше и желтыми противотуманными фарами, что свидетельствовало о принадлежности ее пассажира к высшей прослойке советской номенклатуры. Я поднял руку, и «волга» остановилась. Нас предложили подвезти. На переднем сиденье сидел Леонид Федорович Ильичев, академик по специальности история КПСС, еще недавно член политбюро и секретарь ЦК КПСС, поверженный с партийного олимпа и поставленный на должность заместителя министра иностранных дел СССР. Его прерогативой были провальные переговоры с Китаем по урегулированию границы. Мы сели в машину. Ильичев оживленно беседовал со своей секретаршей и водителем. Дед не проронил ни слова. Когда мы вышли, он сказал: «Зачем ты поднял руку?» — «А что такое?» — растерялся я. — «Ты поставил меня в положение одалживающегося» — сказал дед. До сих пор я вспоминаю этот случай как урок гордости, который преподал мне дед.

Могу припомнить единственный раз, когда дед воспользовался своими связями, да и то под сильным нажимом бабушки и мамы. Воспользовался для меня. Он пошел к заместителю министра высшего образования попросить, чтобы меня перевели из Иняза имени Мориса Тореза в МГУ, на факультет журналистики. Было это в 1985 г., когда я вернулся из армии. Мы очень волновались, как все пройдет, а деду даже не пришлось ничего говорить. Замминистра (Егоров) подписал прошение и тут же сдал его в свой секретариат. С тех пор за мной в университете шла бумага: переведен распоряжением МинВУЗа СССР. Дед очень гордился тем, что я, как и он, — выпускник Московского университета.

Меня часто спрашивают, почему дед не уехал из России до того, как «завернули гайки», почему не остался на Западе позже, когда много путешествовал как один, так и в составе научных делегаций. Думаю, у него существовали устоявшиеся представления о том, что теперь назвали бы лояльностью советскому строю. Он считал Россию своим домом и своей родиной. На вопрос, не испытывал ли он дискриминации по национальному признаку в России, дед всегда отвечал отрицательно. Когда в 1990 г. в Москву приехал первый некоммунистический польский премьер-министр Тадеуш Мазовецкий, дед получил приглашение на встречу с представителями советских поляков в польском посольстве. С удовольствием пошел и сидел в первом ряду между Анатолием Собчаком и членом-корреспондентом АН СССР, географом Юрием Ильиничем. Играл инструментальный ансамбль «Капелла виленска» из Вильнюса, пели польские народные песни, выступали представители польских общин из Латвии, Казахстана. Кстати, после того как стало невозможным выписывать польскую газету из Варшавы, дед подписался на «Курьер виленский», приходивший из Вильнюса. Этот город он, правда, всегда называл Вильно, равно как и Стамбул, естественно, Константинополем. На дореволюционный манер.

И все же не следует думать, что в течение жизни возможности уехать у него не было. Возможность была, и он от нее отказался. Вот как он пишет об этом в своих воспоминаниях: «В начале 1925 года мои родители решили, что мне лучше уехать учиться в Польшу, где жили мой дядя и доктор П.Ф.Бялокур. В июле я уехал. Нужно сказать, что поездка была очень неудачной, так как ни дядю, ни доктора Бялокура я не застал — они были в отпусках. Я поселился у нашей знакомой пани Мочульской в Варшаве. Должен сказать, что мне вообще там не понравилось, так как там была очень неприятная антисоветская атмосфера. Поэтому через неделю я решил возвращаться домой». Вывод, звучащий странно с позиций сегодняшнего дня. Может быть, он имел в виду антирусскую атмосферу. И все же история предлагает нам много фактов, которые в одно время выглядят странно, а в другое — вполне разумно.

Метания людей того времени описаны в «Тихом Доне», «Докторе Живаго», в книгах, к которым дед очень часто возвращался. Было много факторов, которые определяли поведение людей того времени в зависимости от их характеров, взглядов, привычек. Можно это назвать «желанием выжить», «инстинктом самосохранения», но было и другое — чувство родного дома. Таким домом для деда всегда был Крым. Здесь он работал наблюдателем на метеорологической станции на Ай-Петри, гидом по природным достопримечательностям Южного берега.

Он не испытывал никаких иллюзий относительно советской власти. Первое знакомство с ее коварством произошло в 20-е годы, когда Красная армия вошла в Крым. Тогда по всей Ялте (дед это очень часто вспоминал) расклеили листовки с таким текстом: «Офицеры Белой армии! Братоубийственная война закончена! Все, кто сдаст оружие добровольно, будет помилован». Все, кто сдал оружие, были расстреляны на ялтинском молу. Жители Ялты запомнили жестокость, но вслух

вспоминали об этом редко. Тем не менее вероломство красных не прошло незамеченным. И ничего хорошего от новой власти не ждали.

В конце 20-х Кретовичей раскулачили и выслали в Великий Устюг. Тогда мать, Янина Фаддеевна, совершила поступок, в реальность которого до сих пор многие не верят. Она организовала побег. Мой дед в это время находился в Москве и, скрыв, что его родители лишены прав (тогда так поступали с раскулаченными), учился в МГУ. Побег удался. С помощью знакомого врача по поддельной справке о месте жительства удалось выправить новые документы. Семейство осело в Нижнем Новгороде, который тогда назывался Горький. Прадед поступил на работу на завод шампанских вин. Там они встретили войну. Прадед Леон Ксаверьевич дорос от простого дегустатора до начальника цеха виноматериалов и стал популярным в городе человеком. Одна из горьковских старух Нюра Голованова, которая работала у Кретовичей в доме и потом почти 40 лет следила за могилой Янины Фаддеевны, характеризовала ее так: «Нина Фадевна больная гордая была. Зря не заговорится. А Леон Савельич такой хороший человек — без него мы б в войну и не выжили бы...» По признанию старухи, она меняла вино, которое получала от прадеда, на еду и белье.

О семье Кретовичей — родителей отца деда — было известно, что происходили они из деревни Свинно в Волынской области и в конце XIX века перебрались в Крым. У матери деда (в девичестве Неймак, в другом правописании Нейман) было несколько братьев. Один — полковник русской армии. Как вспоминали его — человек крутого, резкого нрава. Он погиб во время революции. Другой окончил Папскую академию в Риме, был монахом-иезуитом и даже имел сан прелата на Волыни. Как говорил Вацлав Леонович, в 1944 г. его убили «то ли наши, то ли немцы». Остальные братья уехали в Аргентину и оказались разбросанными по белу свету подобно многим полякам. По рассказам, Янина Тадеушевна строго придерживалась католических порядков. Она рано вышла замуж, но была второй женой моего прадеда Леона Ксаверьевича. Своего первенца Вацлава она родила в 16 лет. До революции в Ялте был костел и польская община, но говорить по-польски и изучать язык не разрешалось. Занятия проводились тайно. Вацлав Леонович учился в такой подпольной школе и очень хорошо знал польскую историю и литературу.

В 1992 г., когда он был избран почетным доктором Познанского университета имени Адама Мицкевича, в речи на церемонии вручения дед сказал, что Мицкевич всегда присутствовал в их доме. Это был уже третий диплом honoris causa, который получал В.Л. Первый был из Берлинского университета имени Гумбольдта, второй — от Познанской сельхозакадемии. И все же присвоение этого звания стало очень важным как признание его особых заслуг перед польской наукой. Это была своего рода компенсация за то, что в силу бюрократических препон он так и не был избран иностранным членом Польской Академии наук (ПАН). Со всей Польши съехались его знакомые, ученики. Из Варшавы приехал наш старый друг, бывший директор Института биохимии ПАН Казимеж Клечковский. Как называл его дед, Казимир Игнатьич. Причем всех В.Л. помнил в лицо и по именам. И все время спрашивал: «А где Краузе? А где Касперек? А где Эдвард Галлес? (в 70-е годы ректор Политехнического института в Лодзи). Скажите Эдварду Каминскому (профессор Познанской сельхозакадемии), чтобы пил меньше виски...»

Поляки буквально носили его на руках, потому что ходил дед уже неважно. Однако это не помешало ему в 85-летнем возрасте совершить авиаперелет в Варшаву. Его поездку оплатила организация, объединяющая зарубежных поляков, — «Дом польский». Я поехал с ним. На мой билет деньги выделил один из польских богачей, бизнесмен и теннисист Войцех Фибак. Это получилась незабываемая поездка с великолепной церемонией вручения диплома. Деда одели в мантию почетного доктора. Промотором был профессор Рышард Шрамм — человек необыкновенного аристократизма и чести. Особенно трогательно было видеть, что в Познани деда принимают как своего, как соотечественника. Жить ему оставалось меньше года.

С кончиной деда я потерял доброго советчика, человека, который всегда старался видеть и поддерживать в людях лучшее. Никогда не забуду, как он бежал за мной, когда я, выходя на улицу, был уже у лифта, и спрашивал, есть ли у меня деньги. Такого, конечно, в жизни у меня уже никогда не будет. По советским меркам дед зарабатывал довольно прилично, и его ученики до сих пор вспоминают, как, давая в долг, он потом порой забывал брать деньги обратно. В 1997 г., когда отмечалось 90-летие биохимика, газета «Российские вести» писала: «В работе им двигало не тщеславие или стремление к деньгам и званиям, а то, что восхищает больше всего, — страсть к труду, к поиску, неумение строить карьеру, идя по головам других, исключительное жизнелюбие и какое-то романтическое отношение к бытию».

Гжегож Садовский

СИЛА ВОЛИ

Как эмигрант из Польши увеличивал обороты фирмы «Нокиа»

Стефан Видомский

Стефан Видомский, эмигрант из Польши, — один из самых богатых жителей Финляндии и один из лучших экспертов по вопросам торговли с Востоком. Он — единственный поляк, добившийся такого невероятного успеха в финском бизнесе. В начале 1970-х он узнал, что финской фирме «Нокиа» требуются специалисты по продажам, и три месяца подряд почти ежедневно звонил руководителю отдела реализации, пытаясь договориться о встрече. А спустя десять с небольшим лет поляк получил назначение на должность вице-президента концерна (почти половину своих доходов фирма тогда получала за счет деятельности его отдела), отвечающего за товарооборот с СССР, в то время главным экономическим партнером Финляндии.

Когда в 1987 г. в Хельсинки прибыл Михаил Горбачев, в программе его визита была также встреча с руководством фирмы «Нокиа». Руководству концерна было важно, чтобы русские обратили внимание на системы связи, созданные инженерами этой фирмы. Видомский принес стандартное по тем временам изделие фирмы — аппарат talkman, первый мобильный телефон, работающий в аналоговой системе NMT. Когда Горбачев спросил, что это такое, Видомский вручил ему трубку и набрал номер телефона советского замминистра связи. Застигнутый врасплох Горбачев поговорил с ним и сказал: «Ну, мы еще в Москве побеседуем».

Технарь-полиглот

Детство Стефан Видомский провел в варшавском районе Воля. Учиться поступил на факультет права и управления Варшавского университета. Там он познакомился с Сирпой Кукконен, своей будущей женой, которая приехала в Польшу, получив стипендию на полгода. Когда ей пришло время возвращаться домой, Видомский уложил в чемодан свой единственный костюм и две рубашки и решил уехать вместе с ней.

На свою первую работу он устроился в пункте техобслуживания, где ремонтировал телевизоры. Видомский утверждает, что электрик из него получился чрезвычайно плохой, но в Финляндии к тем, кто не работает, относились как к нахлебникам. Страна поднималась после выплаты Советскому Союзу огромных (350 млн. долл.) послевоенных репараций. Через полтора года Видомский уже научился говорить по-фински и начал изучать политологию в Хельсинкском университете. Случайно он узнал, что Партии центра — партии тогдашнего президента Урхо Кекконена — нужен переводчик, знающий польский язык. Спустя несколько месяцев Видомский стал работать переводчиком в канцелярии президента.

Благодаря новым связям и таланту к языкам (он знал еще русский, немецкий и английский) Видомскому вскоре удалось найти другое занятие. Поляк попал в иностранный отдел «Суомалайнен кирьякауппа» — крупнейшей сети книжных магазинов в Скандинавии. Затем его переманила фирма «Инструментариум», занимавшаяся дистрибуцией медицинского оборудования. В каждой фирме его ценили как превосходного специалиста по переговорам и продажам. Он чувствовал себя так, словно у него крылья растут: зарабатывал все больше, руководил все более многочисленным коллективом. Его ассистент сообщил ему по секрету, что фирме «Нокиа» требуется специалист по продажам, знающий специфику восточного рынка.

Полпред телефонов

В то время как почти вся финская экономика развивалась благодаря торговле с СССР, фирме «Нокиа» советский рынок приносил лишь 13% доходов. Фирме требовались хорошие специалисты по продажам, тем более что «Нокиа» начала выводить на рынок новую продукцию (телевизоры, кабели, системы связи).

— За год я увеличил объем продаж в Россию на 30%, за два года этот объем удвоил, — говорит Видомский.

Самым трудным для него был период начала 90-х, когда торговля с Россией рухнула.

— Я все время сидел на чемоданах, постоянно летал самолетами, работал чуть ли не сутками, — рассказывает Видомский. — Вместе с Йормой Оллила (президентом фирмы) мы встречались с политиками стран Восточной Европы.

Оценивая деятельность концерна в тот период, британская газета «Файнэншл таймс» писала, что фирма «Нокиа» была одним из тех концернов, в которых система управления оказалась наиболее успешной.

wprost

Владимир Британишский

БЕСПОКОЙНЫЙ ДУХ

Витольд Вирпша

Витольд Вирпша — поэт, которого в Польше на протяжении второй половины минувшего столетия открывали, закрывали, причем надолго, и открывали снова. Продолжают его открывать и теперь, в начинающемся новом столетии. Хочется надеяться, что в новом столетии судьба его творчества будет более удачной, поскольку поэтом он был и остается ***новым****.*

Мне Вирпша открылся в течение зимы 1965/66 годов. Я прочел сборники его стихов, чрезвычайно необычные и трудные, прочел книгу прозы, тоже необычной, прочел книгу его статей о литературе «Игра смыслов», название которой (но только название) как раз тогда надолго становилось модным в польской литературной среде. Прочел я и немногочисленные рецензии, какие нашел в журнале «Твурчость»; рецензии, особенно Яна Юзефа Липского, меня ободрили, и летом 1966-го, взяв длительный отпуск за свой счет, я погрузился в библиотеке в длительные и увлекательные чтения. Читал я античных философов, от фрагментов Эмпедокла до «Физики» Аристотеля, а также некоторых современных философов и, как требовал круг интересов и характер эрудиции переводимого автора, современных физиков.

Первыми вещами Вирпши, за которые я взялся, были поэма «На тему из Горация» и стихотворение «Портрет мозга сенатора», по мотивам рисунка Леонардо да Винчи. Вещь, связанная с античностью, и вещь, связанная с Ренессансом. Тут я должен признаться, что в то лето я параллельно (безумное дело, но мне было тридцать три года, и я был полон энергии!) занимался поэзией Витольда Вирпши и Збигнева Херберта. В обоих меня поначалу привлекали античность и Ренессанс, так что основной этап переводческой работы — этап чтений и размышлений вокруг поэта — был общим для них обоих. Общего в этих поэтах, на первый взгляд, ничего. Херберта в польской критике пытались втиснуть тогда в «неоклассицизм», для Вирпши изобретали индивидуальные ярлыки: «ученая поэзия», «сциентизм». Вирпша был сугубо новым явлением в польской литературе и культуре, но, как все большие новаторы, он опирался на очень мощный и многовековой фундамент, начиная с древнегреческих поэтов-философов, как уже упомянутый Эмпедокл. Античность постоянно продолжала занимать Вирпшу и позже, Гомеру и Горацию посвящено последнее стихотворение Вирпши, написанное в Берлине за полгода до смерти.

В то лето 1966-го благодаря Вирпше и Херберту я прочел или просмотрел все книги об античности, какие были в московской Библиотеке Ленина по-русски, по-польски и по-английски. К моему удивлению, количество их оказалось не бесконечно и не столь уж велико.

Зная, что Виктор Ворошильский, с которым мы, бывая в Варшаве, постоянно общались, дружит с Вирпшей, я послал Виктору свой перевод горацианской поэмы, Виктор переслал перевод Вирпше, от которого я получил, уже летом 1967 г., письмо из Западного Берлина, где он находился на годичной немецкой стипендии. Перевод поэмы Вирпше понравился, замечаний у него не было.

Летом 1968 г., когда мы в очередной раз были в Варшаве, Вирпша, вернувшийся из Германии, был в Польше, но не в Варшаве, а в Закопане. Туда он и пригласил меня. Три дня мы провели вместе, беседуя чаще вдвоем, в окрестных горах, но иногда и вчетвером, с Артуром Мендзыжецким и Юлией Хартвиг, а один из вечеров провели в большой компании, едва вмещавшейся в тесной комнатке в доме поэта Томаша Глюзинского и его жены.

О наших прогулках с Вирпшей я написал лет десять спустя стихотворение «Мы с ним вдвоем бродили среди скал...», Вирпша в это время был уже эмигрантом, имя его в Польше и в Москве было запретным, стихотворение появилось в моей московской книге 1980 года без посвящения, так и перевел его Юзеф Вачкув (в составленной им польской книге моих стихов «Przestrzeń otwarta», PIW, 1982), но в своей книге стихов 1993 года я перепечатал его под названием «Витольд Вирпша»:

Витольд Вирпша

Мы с ним в горах бродили среди скал,
по-польски собеседуя. Однако,
седобородый, он напоминал
скорей всего буддийского монаха,
ценителя вина, цветов и птиц,
и мудрости, отцеженной веками.
Он догадался. Не докончив стих
цитируемый, вспомнил о Вьетнаме,
о скульпторе ханойском и о том,
как тот мечтал взглянуть одним глазком
на недоступную ему Варшаву...

Во сне, блуждая по земному шару,
вновь вижу Польшу — тишина, закат,
три странника на крутизне Карпат.

1977

В 1968, 1969, даже в 1970-м Вирпша еще не был в «черном списке». Но такие трудные стихи, как его, ни в каком журнале у нас в Москве не проглотили бы. Я предложил тогда в журнал «Иностранная литература» не стихи Вирпши, а большую статью «Современная польская философская поэзия». Статья была двухчастная: Херберт (философия истории и этика) и Вирпша («физика», в том широком смысле, как ее понимали древние греки, включая все естествознание, и опять-таки «этика», но и гносеология также). Статью отвергли: испугал блюстителей идеологической чистоты (а внутреннюю рецензию на рукопись моей статьи писал директор Института мировой литературы Б.Сучков) именно Вирпша, очень уж он был странным и непривычным мыслителем. Не потеряв присутствия духа, я обмыслил, написал и предложил статью-триптих «Философия истории в польской поэзии: Стафф, Ружевич, Херберт». Эта статья, без Вирпши, тоже была отвергнута: хотя редакция критики подкрепила ее тремя положительными внутренними рецензиями трех полонистов, однако теперь новому (к счастью, кратковременному) главному редактору журнала С.Дангулову не понравились все три польских поэта вкупе с автором статьи.

А вскоре, с 1971-го, Вирпша, эмигрант, политический писатель, автор книги «Кто ты, поляк?», вышедшей на Западе, в Швейцарии, по-немецки, стал невозможен и в Польше и у нас категорически, как таковой.

Виктор Ворошильский, встретившийся с Вирпшей в Италии, передавал мне в одном из писем привет от него. Много позже из письма Виктора я узнал и о кончине Вирпши в Берлине в 1985-м. А в 1986 г., приехав в Варшаву после семи лет перерыва, я узнал от того же Виктора адрес поэта и критика Лешека Шаруги, сына Витольда Вирпши, и Шаруга прислал мне из Западного Берлина, где он руководил польским культурным центром, страниц полтораста ксерокопий рукописей своего отца, а также все его самиздатские и тамиздатские книжки, вышедшие к тому времени. Рукописей было много, новых книг мало.

Мои публикации давних и новых переводов из Вирпши датируются 1997 (две: в журналах «Иностранная литература» и «Арион»; в журнале «Арион» появились мои переводы 1966 года — 31 год они ждали печати) и 1999 годами (в журнале «Литературное обозрение», здесь центром публикации была поэма «Апофеоз танца»; к сожалению, я не имел возможности править корректуру, и в публикации много опечаток, ошибок, иногда искажена графика). Значительная часть этих переводов вошла потом в двухтомную антологию (Н.Астафьева, В.Британишский. Польские поэты XX века. СПб, 2000). Но теперь я вижу, что из Вирпши в антологию я взял недостаточно. Мне почему-то казалось, что поэмы в антологии, хотя бы и двухтомной и 1000-страничной, будут чересчур тяжеловесны; ни одну из поэм — ни «На тему Горация», ни «Апофеоз танца» — я не включил целиком. И совершенно напрасно. Напрасно я не включил в антологию хотя бы строк сто из переведенной мною поэмы Ружевича «Et in Arcadia ego», напрасно не взял целиком хоть одну из двух маленьких поэм Пшибося, ограничившись фрагментами. Это обеднило образ Ружевича и образ Пшибося. А в случае Вирпши это обеднило и всю нашу книгу. Присутствие полных текстов этих поэм Вирпши — именно в силу их «тяжести» — сдвигало бы центр тяжести всего двухтомника, меняло бы представление о всей польской поэзии XX века.

Для Польши характерны «предтечи», люди, опережающие развитие мировой литературы (и не только литературы). Таких людей, естественно, бывают единицы. Вирпша — один из самых интересных и особенно далеко опережавших. Вот почему и сейчас еще он остается и недооцененным, и недоосмысленным, и недоопубликованным. Но первая монография о нем, серьезная и талантливая книга Иоанны Грондзель-Вуйцик, уже вышла (Издательство Познанского университета, 2001). Хорошо, что первая книга о Вирпше — книга молодой женщины. Это позволяет верить, что за Вирпшей — будущее. Да и за кем же, если не за Вирпшей! Это ведь поэт-мыслитель. Еще Лец шутил: «У мышления — колоссальное будущее».

Сам Вирпша к концу жизни в будущее не очень-то верил. Когда-то, в послевоенные годы, освобожденный советскими войсками из немецкого лагеря для военнопленных (Вирпша был участником сентябрьской кампании 1939 г., попал в плен, бежал, но был пойман), он поверил было в «свет с Востока», в прекрасное будущее всего человечества, но уже к концу 1950-х совершенно разуверился в прогрессе, в поступательном хо-

де истории. Свою книгу стихов 1960 года он назвал «Маленький вид»: «маленьким видом» он иронически именует вид гомо сапиенс, подвергая сомнению разумность «человека разумного». В поздние, эмигрантские свои годы на прошлое, настоящее и будущее человечества Вирпша смотрел одинаково мрачно. Лишь огромный талант, темперамент, страсть, великолепный интеллект поэта позволяют читателю и переводчику, читая и переводя стихи и поэмы Вирпши, находить в них не источник депрессии, а источник, как это ни парадоксально, надежды.

Меня лично восхищала поразительная многолетняя стойкость Вирпши, поэта непризнанного и не понимаемого почти никем, но продолжающего интенсивнейшим образом упорно работать, делать свое и по-своему. — У нас одна Шимборская меня понимает! — сказал он мне летом 1968-го. Он был близок к истине, его ценили лишь несколько друзей и поклонников: Ворошильский, Бохенский, Ян Юзеф Липский, молодой Эдвард Бальцежан. Вскоре их полку прибыло, добавился Станислав Баранчак, который стал активным адептом творчества Вирпши, его эссе к 60-летию Вирпши в парижском журнале «Культура» в 1979 г. звучит буквально признанием в любви. Но Баранчак и его ровесники вошли в литературу уже после событий 1968 года (они и назвали себя «поколением-1968»). А новые книги Вирпши-эмигранта после 1968-го вплоть до его кончины в 1985 году выходили — в самиздате и в тамиздате — крайне редко, очень многое не издано еще и теперь.

Вирпша был поэтом не для всех. «Никакие аргументы его теории, никакой блеск его практики не могли сделать из него "поэта для читателей", — писал о Вирпше вскоре после его смерти Виктор Ворошильский в парижской «Культуре». И пояснял: —— Слишком высоко он летал, слишком дерзко играл с поэтической мыслью и поэтической речью, слишком мало заботился о том, чтобы люди среднего или даже выше среднего уровня могли воспринять столь нетрадиционную модель литературного текста... одним словом, слишком много себе "позволял", чтобы рассчитывать на широкое приятие и признание... Был, стало быть, Вирпша поэтом для поэтов... а прежде всего был поэтом для себя; и в конечном счете именно потому, что он в первую очередь был поэтом для себя и поэтом для поэтов, он стал тем, чье творчество своими эманациями пронизывает, хотя и не непосредственно, не способом, заметным для всех, всю нашу современную литературу».

Говоря о том, что Вирпша «высоко летал», Ворошильский, вероятно, вспоминал мысленно и тему «полета» в поэзии и прозе Вирпши. В поэме «На тему Горация» Вирпша развивал эту тему на материале той оды Горация, которую в русской поэтической традиции называют, после державинского переложения, одой «Лебедь» («Необычайным я пареньем / От тленна мира отделюсь...»). В польской поэзии эту оду Горация перелагал Ян Кохановский. Гораций в своей оде, опираясь на древних греков, веривших, что поэт после смерти превращается в лебедя, писал о своем полете над бескрайними пределами Римской империи как о своем бессмертии. Но Вирпшу привлекала не столько «гордыня» Горация, знавшего себе цену, сколько мотив свободного полета человека как метафора свободы.

В прозе Вирпши есть развернутая параллель горацианской поэме о полете: сон подпоручика Квятковского, находящегося в немецком лагере для военнопленных в годы II Мировой войны (как и сам Вирпша тогда); подпоручику в лагерном бараке снится сон о полете как о возможности вырваться на свободу из несвободы. Повесть «Апельсины на колючей проволоке», изданная в 1964 г., писалась в 1946-1960 гг., задолго до горацианской поэмы Вирпши, но уже и в повести в описании сна-полета Квятковского переклички с упомянутой одой Горация многочисленны и настойчивы, этот фрагмент повести о полете «оперенного» человека и эта поэма о полете поэта-лебедя (или поэта-«планериста»?) прекрасно комментируют друг друга взаимно, а в коротком предисловии к повести Вирпша прямо говорит, что предметом философствования в этой книге стала — свобода.

Свобода и несвобода — один из постоянных предметов размышления Вирпши. Он вообще довольно постоянен, есть у него постоянно возвращающиеся мотивы, даже словосочетания. Но диапазон его интересов огромен. Его интересует история. Интересуют естествознание, физика, физиология, вообще биология. Его интересуют законы творчества, психология личности творца, художника. Можно было бы сказать, что круг интересов Вирпши — весь круг европейской мысли, начиная от греков. Но нет, он еще шире. Не случайно он показался мне в 1968 г. похожим на буддийского монаха. Он рассказывал мне тогда о своем пребывании на Востоке. Восток был для него «другим» миром, восточный человек — мудрец, а не интеллектуал, как европеец. Но интеллект без мудрости ущербен. Среди поздних, недавно найденных стихотворений Вирпши одно — «Ключи» — родилось из раздумий о философии древнего Китая. Вирпша, как всегда, иронизирует, играет, здесь он сталкивает конкретные «ключи от квартиры» с абстрактной философской мыслью, но, как всегда, его ирония, игра, шутка не исключают серьезности. Он серьезно относится и к бесконечности космоса, и к бесконечности пути человека в космосе, к бесконечности познавания. Вечное сомнение Вирпши — это не разъедающий скепсис, а каждый раз стимул для все новых и новых попыток и путей осмысления мира, новых предположений, суждений, пусть даже взаимоисключающих в своей нескрываемой противоречивости.

Вирпша обычно неоднозначен. Но иногда горечь и отчаяние берут над ним верх.

Мрачный взгляд позднего Вирпши на историю как царство абсурда, кошмара, гротеска, в котором нет ни смысла, ни порядка, ни даже элементарной хронологии, нашел наиболее полное выражение в поэме «Апофеоз танца» (заглавной вещи одноименной самиздатской поэтической книги Вирпши 1985 года), в стихотворении «Танец одурелых» и во многих других вещах. В одном из поздних стихотворений он называет историю «пурпурным», то есть кровавым, потоком легенд, этот поток «разбрызгивается пурпуром по спине» человека, но течет он из недоступного человеку «решета». История человеку неподвластна. И в стихотворении «Василиск» люди, оказавшиеся в средневековом замке, могут оказаться узниками истории, могут вдруг оказаться замкнуты в этом замке, замкнуты в средневековье, «пока не сдохнут».

Поздний Вирпша все больше ощущает присутствие и даже всевластие иррационального в истории и в окружающей его действительности.

Два стихотворения 1980-1981 гг., составляющие как бы двухчастный цикл, — это два монолога: монолог Мерлина и монолог Нострадамуса.

И Мерлин, и Нострадамус — поэты. Полулегендарный исторический прототип Мерлина был староирландским, кельтским бардом. И предсказателем, «волхвом». В монологе Мерлина у Вирпши возникает тема «волхвов» и «владык», которая для русского читателя связана с пушкинской «Песнью о вещем Олеге», где князю противопоставлен «заветов грядущего вестник». Мерлин Вирпши тоже противопоставляет себя, «волхва», свою власть, власти «владык», Октавиана или Ирода. Но главная тема монолога Мерлина — протест против современного «цифрового» мира, против вычислительных машин, против попыток «сосчитать» человека. И похоже, что Вирпша-1980 сочувствует Мерлину в этом. В соседнем стихотворении «Перепись населения» оказывается, что именно неточность цифр может обернуться благом: именно «зияние», несовпадение цифр подлинного и статистического числа подданных Империи Октавиана обернулось важнейшим в истории событием: уцелел младенец Иисус, спасенный родителями.

Нострадамус — тоже поэт, ведь его предсказания были изложены в стихах, в четверостишиях, толкованием которых (особенно в конце очередного столетия и тем более — тысячелетия) занималась чуть ли не вся Европа. В стихотворении Вирпши Нострадамус, предсказывающий будущее по звездам, сам же хочет произвольно менять порядок звезд и созвездий, тем самым вмешиваясь в будущее людей. Такая «власть» «астролога» уже опасна для человечества. Впрочем, на самом-то деле булыжники, которыми Нострадамус бомбардирует людей с неба, — это булыжники небесных дорог, вымощенных «благими намереньями» самих людей; эти их благие намеренья и обрушатся на их же головы.

Гордыня Мерлина и Нострадамуса не выглядит симпатичной. Но иногда гордыня художника правомерна. Такова — в стихотворении Вирпши «Рука Бога» — гордыня скульптора (Родена), который «творит Бога», ибо он изваял Руку Бога по образу и подобию своей руки. Эта гордыня — в ощущении Вирпши — творческая, творящая, рождающая.

Поздний Вирпша оставался поэтом трудным, усложненным. Лишь несколько последних, предсмертных стихотворений написаны совсем иначе — просто и прозрачно, исповедально. Таково автобиографическое стихотворение «Трудности», таково стихотворение-признание «Порядок». Впрочем, таково было и стихотворение-признание «Использовать писательски» в книге 1966 года: о переломанной судьбе, о переломанной творческой биографии (а судьба и творческая биография еще будут ломаться и ломаться):

Как писательски использовать поломанную
Биографию, какое употребить искусство, чтобы
Она компоновалась, какие минуты выскрести
Ритмичным скребком, чтобы фрагменты
Примыкали друг к другу и были
Пригодны для будущего читателя?..

В одном из последних стихотворений — «Трудности» — Вирпша упоминает о машине, наехавшей на него и переломавшей ему кости. От этой тяжелой травмы окончательно он уже не оправился.

Вирпша похоронен в Западном Берлине, на кладбище, которое называется по-немецки Ruhleben, что значит «спокойная жизнь». А его беспокойный дух по-прежнему колобродит в его стихах и поэмах, он будет и дальше будоражить думающих поэтов и думающих читателей.

Витольд Вирпша

Перевод Владимира Британишского

СТИХИ (НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ)

Рука Бога*

Тело из мрамора держит меж пальцами
Глину из мрамора. Изваянное
Тело из мрамора ваяет неиз-
Ваянную глину из мрамора
(Видны следы пальцев) и в этой глине из
Мрамора брезжат очертанья
Человеческой головы из глины.
Мрамор белый, тело бледное
И ваяемая глина бледная. Пальцы
Бога тонкие и сильные и на-
Поминают пальцы пианиста. Рука
Бога вырастает вертикально из слабо
Обработанной глыбы мрамора, это
Мрамор и в то же время твердая
Бездна.
Так изваял скульптор
Ладонь Творца наподобие
Своей ладони. Ваял он, глядя
В зеркало и на свою конечность
В натуре, частичный автопортрет: поскольку
Часть равна целому; поскольку
Гордыня схожа с любовью; поскольку
Обе они рождают.

Париж, 10 сентября 1974
(книга «Апофеоз танца»)

Перепись населения

Когда Христос родился, Октавиан
Издал указ о переписи населенья
Империи. Несколько позже местный сатрап
В приграничном протекторате велел
Перебить в одном городе всех
Младенцев. Доныне неизвестно, дошла ли
Весть об этом до Рима.

* Скульптура Огюста Родена «Рука Бога» (1898) находится в Музее Родена в Париже; скульптор создал два варианта этой вещи.

Ибо если б дошла, то, быть может,
Задумались бы над тем, насколько
Эта резня привела к расхождению
Официальных демографических данных
С истинной численностью населенья. Но
Маловероятно, чтобы чиновников в Риме
Интересовала такая мелочь.

Важно, пожалуй, что это зияние между
Статистикой и правдой привело
В известной мере к самому большому
В истории потрясенью: по причине
Бегства трех евреев в Египет, который
Когда-то был домом неволи, теперь же
Стал домом убежища (ненадолго).

Краткая речь Мерлина на заседании Организации Объединенных Наций

Я вам не Октавиан и не Ирод. Я
Не мягкий и не жестокий. Темный.
И вы не постигнете суть моего могущества.
Я расстрою ваши порядки и переиначу ваши
Вычислительные машины, и не сосчитаете
Ничего. Ваши уравнения будут
Из одних неизвестных, и в этих уравненьях
Левая сторона будет всегда равна
Правой, и вы сможете менять знаки
Как угодно и ничего не будете знать. Нет,
Я не Октавиан и поэтов я не сошлю
В Сибирь; и убийц не держу; мне подвластны
Силы.
Я предсказываю, что по моей воле
Не сосчитаете ни родившихся, ни умерших;
Ни тех, что между рожденьем и смертью
Счастливы или несчастливы; сыты или
Голодны; больны или здоровы. Не сосчитаете ни
Одержимых, ни восхищенных и не
Сосчитаете их грехи, ибо нет уже в
Вас ни гордыни, ни любви.
Спасибо.

Берлин, май 1980

Краткая реплика Нострадамуса на заседании Организации Объединенных Наций

Мерлин говорил. Вольнó ему издеваться над вами,
Трудности его понимаю; стар, недостаток воображенья;
К тому же, чернокнижник. Моя же суть ясна:
Порядки я не расстрою, я их обездвижу; будут

Paulina Zielona

Стоять, покуда не сбудется, что сбыться должно по звездам,
А это я рассчитаю и вам считать уже нечего.
Перед тем, как сбудется, я совершу операцию
На констелляциях и конъюнкциях**. Лебедь заключит Лиру,
Дракон поглотит Лебедя, а Дракона запрягу в оба
Звездных Воза, и помчится с прицепом. Что, нет прицепа,
Прицеп — не созвездье?
Посмотрим, а вы не смейте
Двигаться. Да, я предсказываю будущее;
И что же есть будущее для неподвижных? Что же есть время?
Нет никого мне подобного в прошлом, я не
Нерон и не Самсон, ничего не сожгу
И ничего не обрушу. Я мягок,
Но это не мягкость на самом-то деле.
Я жесток, но это не жестокость
На самом-то деле. Я ужасен.
Этого вы не поймете;
А Мерлин не был ужасен. Оба Звездных Воза с прицепом
(Да, а что в прицепе?) громыхают по небесным дорогам,
Мощенным благими намереньями, по колдобинам. Я возница;
Сбрасываю на ваши головы твердолобые эти булыги:
Не двигаться, бомбардируемые.
И не благодарить.

Берлин, февраль 1981

Нет рая

Говорят: сад; а также: сад
Невинности; и далее: сад
Наслажденья (см. Босх***). В текстах
Он не столько пространственно, сколько во времени
Локализован: это прошлое
Потерянное, утраченное по вине, и тем самым
Он также и место первой провинности.
В райский сад возвращенье бывает
Лишь во сне, в мечтании,
В местах мечтаемых. Исключается
При этом настоящее и будущее.

Верующий человек в возвращенье
В этот сад не может верить. Ибо
Верит в небо и в ад. Если
Он верит еще сильнее, то верит в
Воскресение мертвых, то есть в вечное

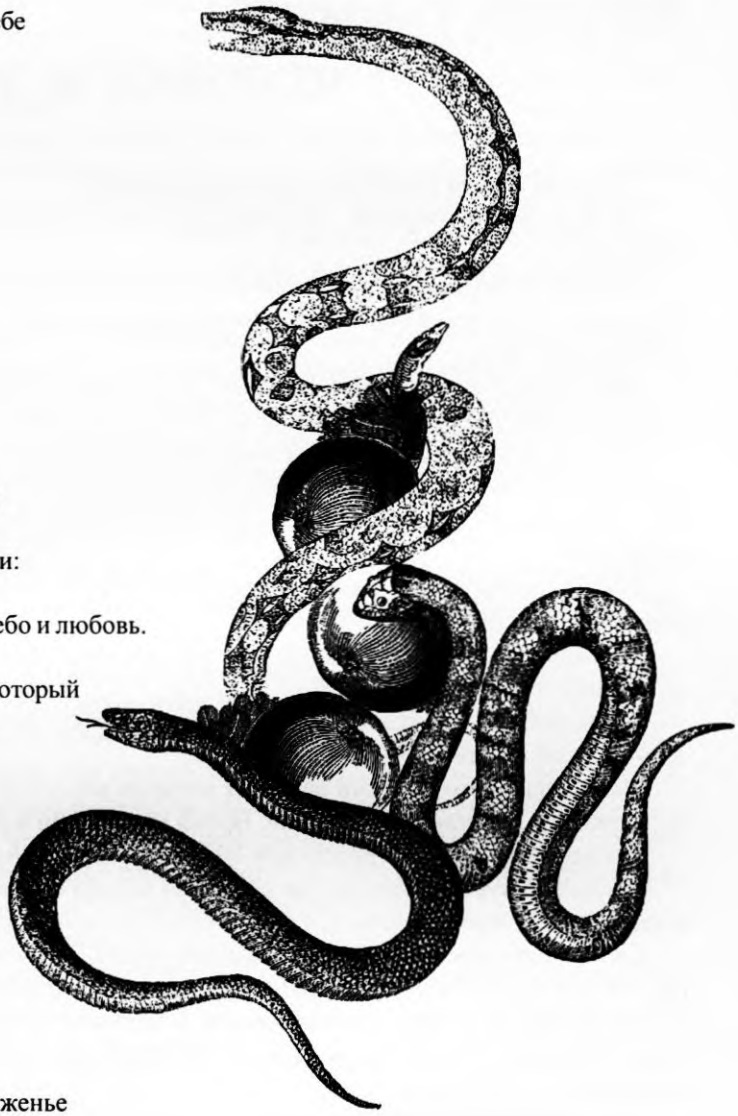
** Слова «констелляция» и «конъюнкция», которые по-польски являются астрономическими терминами, по-русски употребляются только в астрологии, впрочем, модной в России последние лет пятнадцать, так что здесь, в устах астролога, эти слова по-русски теперь правомерны.
*** Имеется в виду триптих Босха «Сад земных наслаждений» (ок.1510), находящийся в музее Прадо, в Мадриде.

Пребыванье тела и души в небе
(Ад, осторожности ради, выводим
За скобки). Что же, однако, делается в небе
С духом? Быть счастливым значит ли
Утратить присутствие духа?

Выведем также и дух на время
И осторожности ради за скобки.
Позже он будет нам нужен,
Но не теперь, когда мы готовимся
Переступить порог нереальности.

Итак, мы имеем: порог,
Нереальность; состоянье, где
Три измерения времени, кажется,
Сплавились, тигель, где
Прошлое, настоящее и будущее
(И много других времен и квазивремен)
Разыгрывают меж собою битву
В напряженной спазме одновременности:
Натиск одновременности на
Времена тела и души это блаженство, небо и любовь.

Стало быть, нет рая, нет золотого века, который
(См. Овидий****) посеян был первым.
Из райского сада был
Выход: изгнание. Небо,
Любовь, блаженство безвыходны. Это
Перманентная катастрофа, где
Невозможна провинность и где
Катастрофа длится неустанно
В нереальности.
Мы, однако, можем
Распознать (уж коль мы люди
Верующие): нереальность это гул,
Катастрофа это напряженье. Гул
Напряженья, любопытство к гулу, напряженье
Любопытства: это не рай, не невинность;
Это воскресение духа,
Преступание второго порога,
Если уверовал в первый.



Берлин 1976

****Овидий «Метаморфозы», I, 89: aurea prima sata est aetas. По-русски см. перевод С.Шервинского.

Евстахий Рыльский

Перевод Натальи Горбаневской

ЧЕЛОВЕК В ТЕНИ

Девушка встала с постели и начала одеваться.

Ей было лет шестнадцать, она врала, что совершеннолетняя, родом из Петербурга, но и это была неправда.

Ранский любил наблюдать за ней. Иногда между ними наступало сближение, иногда нет, но так или иначе, когда раз в неделю они встречались в одной из снимаемых Себеком квартир, он не сводил с нее глаз.

Любил он и ее молчание. Если не было необходимости, девушка не отзывалась; если он говорил с ней, у него не складывалось впечатления, что она его слушает, и его это устраивало.

Он невольно задумывался над этой ничем не замутненной бездумностью, рисовавшейся на ее мелком лице, и над вопросом, зарождается ли временами какая-то мысль под потоком падающих на лоб светлых волос, а если да, то чего она может касаться: денег, будущего, страдания, удовольствия, бренности?

Ей никогда не хотелось пить, никогда она не была голодной, сонной, усталой или радостной, словно эмоции обходили ее стороной.

Она красила ногти черным лаком и накладывала толстый слой туши на веки, и тушь всегда размазывалась по подушке.

У нее не было, вне зависимости от дней и обстоятельств, никакого запаха. Отсутствие запаха шло ей в той же степени, что и молчание.

Несмотря на это Ранский время от времени что-то ей говорил, о чем-то спрашивал, что-то подчеркивал, а о чем-то умалчивал. Время от времени и рассказывал ей что-то.

Сегодня ему хотелось рассказать ей о митрополичьей курии и ксендзе Константине.

Он любил курию. Сколько бы раз он ни входил в просторные темные интерьеры с запахом восковой полотерной пасты и, как ему казалось, мирта, он чувствовал себя в своем мире.

Сколько он себя помнит, лишенный инстинкта Бога, свободный от потребности веры и религии, он сильно ощущал непреходящий характер и естественное достоинство этого учреждения. В завирухе перемен, в реке нестабильности, наступлении сиюминутности, от которой не были свободны Церковь и духовенство, курия сохраняла все, что было ему близко как гражданину и человеку.

Ему нравилась атмосфера таинственности и элегантного (он был в этом уверен) безделья, которому с благодарностью предавались духовные и гражданские чиновники учреждения. Ему нравилась иерархичность их поведения и естественное почитание принципов ради принципов. Ему нравилась (он глубоко в это верил) вся полнейшая бесцельность предпринимаемых действий и сопутствующий им ритуал.

Он считал себя небольшим, но очевидным элементом этой конструкции и, не чрезмерно себе льстя, полагал, что без его посещений учреждение не было бы таким, как оно есть.

Как всегда, ему навстречу выходил молодой коренастый священник в немодных роговых очках, и, как всегда, им перебегала дорогу эфирная, быстрая, как огонь, монахиня с закинутым вверх, несколько птичьим профилем.

Его провожали в овальную комнату с неплотно пригнанным окном, из которого всегда, независимо от времени года, тянуло холодом.

Как всегда, он сидел так, чтобы струйки сквозняка оказались перед ним, а не за спиной, и, как всегда, отвечал, что никакой спешки нет, когда молодой коренастый священник сообщал ему, что ксендз Константин придет так быстро, как только сможет. Двумя-тремя минутами позже он здоровался с сорокалетним священником, которого сутана делала еще тоньше, и крепко, все крепче пожимал нервную, влажную ладонь.

— Мы познакомились полтора года назад, — громко сказал Ранский, поудобнее устраиваясь в постели. — Он пришел в мою контору с вопросом, не займусь ли я нотариальным обслуживанием нескольких мелких требований о возврате церковного имущества в Варшаве. Не знаю, почему он выбрал меня, и до сих пор он мне этого не сказал, но я знаю и тогда знал, что этот высокий, очень тощий ксендз с трогательными манерами и несколько семитским лицом скрывает какую-то мучительную тайну.

— Я сразу подумал про ересь, Параня, — Ранский не переставал глядеть в неподвижное, фарфоровое лицо девушки, лицо, обещавшее, что уже вскоре станет заурядным. — Еретика я распознаю, как педика, с первого взгляда. Этот невротический священник склонен к неосторожности, ни в коем случае не к риску, а вот именно к неосторожности. Поэтому, когда я задумался о причине внезапной немилости, прервавшей бравурную ватиканскую карьеру, мне сразу пришла в голову неосторожность, как ты прекрасно знаешь, мать всякой ереси.

Ранский велел подать себе рубашку и галстук. Девушка не тронулась с места между окном и двуспальной кроватью, украшенной витками аканта, не то чтобы одетая, не то чтобы раздетая. Ранского не удивило ее неповиновение, словно он к этому привык, может, даже полюбил. Во всяком случае он продолжал говорить:

— Я думаю о чем-то побольше утраты веры в Бога, в смысл существования, в независимое от наших усилий, зловещее равновесие добра и зла, о чем-то побольше печали и немощи. Не входя в подробности, Параня, следует задаться вопросом, откуда бралось мое расположение к этому человеку — из сострадания или скорее, может, из солидарности убеждений в напрасности жизни? Удовлетворяют ли мои посещения курии неудержимую потребность удовольствия, льстят ли они уверенности, что я нашел там родственную душу? И не какую попало родственную душу. Ты хотела бы найти родственную душу? — спросил Ранский, вставая с постели, голый, худой, стройный, нервный и в то же время медлительный.

Девушка не пошевелилась. Ранский ответил сам себе:

— Ты права. За каким бесом нам родственная душа? Со своей собственной человек и то не управится.

*** Евстахий Рыльский** (р. 1944) - прозаик, драматург и сценарист. Дебютировал романом «Станкевич. Возвращение» (1984), опубликовал также сборник рассказов «Только холод» (1987). В 2004-м году выпустил роман «Человек в тени».

Янина Куманецкая

ПРОФЕССИЯ — МАТЕЙКО

«Художник Никифор (кличка „Матейко") бродяжничает в Кринице, побирается, выставляя при этом свои художественные произведения, что наносит огромный политический и моральный ущерб», — так в 50-е годы рапортовал своему начальству милиционер, дежуривший на криницком бульваре.

Кем был этот художник, с таким пренебрежением описанный представителем «народной» власти?

Родился он в Кринице, вероятнее всего 21 мая 1885 г., и настоящее его имя было Епифан Дровняк, хотя все всегда называли его Никифором. Сам он охотно прибавлял к этому имени фамилию Матейко. Это был своего рода титул, ибо Никифор с детства знал одно: он — художник.

НИКИФОР
Пейзаж с костелом

По происхождению он был лемком, т.е. принадлежал к национальной группе, населяющей Низкие Бескиды от Дуклинского перевала до Попрада. Лемки пришли на эти земли в XIV веке и поначалу пасли большие стада овец и волов, но после кризиса скотоводства занялись земледелием и лесным хозяйством. Мать Епифана Евдокия работала уборщицей и прачкой в криницких пансионатах. Она умерла, когда сын был еще маленьким. От нее Никифор унаследовал дефект речи, из-за которого со временем превратился в чудака-нелюдима. Отца он не знал, хотя настойчивые криницкие слухи приписывали его зачатие одному из самых знаменитых польских художников XIX века Александру Герымскому — настолько трудно было людям поверить в самородный талант сына неграмотной крестьянки, который и сам-то почти не умел читать и писать.

Сколько Никифор себя помнил, он всегда рисовал. Люди, приезжавшие в до- и послевоенную Криницу, часто видели маленького ссутулившегося человечка, раскладывавшего на балюстраде пешеходной улицы свою передвижную мастерскую. Все свои сокровища он хранил в деревянном чемоданчике, рисовал на кусочках картона, листах, вырванных из тетрадей, — словом, на всем, что попадалось под руку. Он слюнил кисть и мгновенно, почти не задумываясь, покрывал эти обрывки бумаги разноцветными рисунками, необычайно точно воспроизводил криницкие дома и окрестные железнодорожные станции, словно хотел таким образом наметить свой собственный путь на небеса, открыть окно в бесконечность.

«Его вера в божественную справедливость носила личный оттенок, — писала Моника Малковская. — Он считал, что в загробном, справедливом мире он займет достойное место в иерархии душ, потому что художник, подобно Всевышнему, обладает даром творения».

Его творчество — это проекция мечты о лучшем мире. Видимая действительность переплетается в нем с воображаемой, образуя причудливый мир, порожденный богатой фантазией художника. Он писал городские пейзажи и железнодорожные станции, которые видел и с которых хотел бы отправиться в большой мир. Он писал всех святых — как правило, в стиле православных икон, — однако среди них попадались и святые из календаря, и люди с первых страниц газет. Для него Иоанн Креститель обладал приблизительно такой же святостью, как Сталин или Болеслав Берут, чьи фамилии он выводил неловкими каракулями на рамках своих рисунков, подобно названиям городов и зданий, чтение которых иногда давалось ему с большим трудом. Никифор подсматривал большой мир, воспроизводил повседневную действительность и одновременно создавал свою собственную — необычайно яркую и сказочную. У

него было прекрасное чувство цвета и композиционная интуиция. Кроме того, у него было настолько развито чувство конструкции и пропорций, что говорят, будто в окрестностях Криницы по его рисункам даже пытались строить железнодорожные станции.

Прохожим он сперва вручал старательно выведенную на кусочке картона просительную молитву, а затем показывал свои рисунки. Он не знал цены деньгам, поэтому часто предпочитал брать не бумажные банкноты, а монеты — ведь монеты блестят! Лишь немногие из встретившихся ему людей оценили его искусство. Иногда ему давали жалкие гроши — как нищему, а не художнику. Первые его работами заинтересовались профессиональные художники, приезжавшие в Криницу в 30-е годы. Львовский художник и коллекционер Роман Турин начал собирать рисунки Никифора и уже в 1932 г. показал их на выставке в Париже. Пропагандой его творчества занялись художники из круга капистов — Ян и Ханна Цыбисы, Зигмунт Валишевский, Артур Нахт-Самборский. После войны его искусство популяризировали Элла и Анджей Банахи, издавшие о нем несколько книг. С 1959 г. имя Никифора стало известным, он был признан одним из пяти самых выдающихся художников-примитивистов в мире.

«Подавляющее большинство картин Никифора — это акварели, — пишет Збигнев Волянин, этнограф, знаток творчества криницкого мастера и хранитель одной из коллекций его произведений в музее Нового-Сонча. — Именно в этой технике были написаны работы межвоенного периода, которые считаются лучшими образцами его искусства (...) Однако высшим достижением Никифора, пожалуй, следовало бы признать картины, которые условно можно назвать бескидскими пейзажами со станциями. Ни один другой художник не увековечил Бескиды так прекрасно и с такой страстью (...) Другие замечательные циклы картин довоенного периода — это учреждения и фабрики долларов (...) а также изображенные с педантичной точностью криницкие виллы и пансионаты, портреты курортников и знакомых, церковные хоругви. Никифор охотно писал и самого себя. Он изображал себя таким, каким хотел быть, воплощаясь в образы разных важных людей. Он предстает перед нами как художник за работой, часто под цветным зонтиком, как элегантный и полный достоинства мужчина, как епископ в фелони и даже как святой».

Большая ретроспективная выставка творчества Никифора, прошедшая в варшавской «Захенте» в 1967 г., за год до смерти художника, стала увенчанием его, так сказать, официальной карьеры. Сегодня его рисунки хранятся в крупнейших музеях мира. Вместе с ним, не колеблясь, выставлялись такие художники как Ежи Новосельский, Ян Лебенштейн или Тадеуш Бжозовский.

Новую волну интереса к личности Никифора спровоцировал скромный художественный фильм, снятый Кшиштофом Краузе по сценарию Иоанны Кос. Фильм называется «Мой Никифор», а его действие происходит в 1960-1967 годах. В основу сюжета легли странные отношения, связавшие Никифора и художника Мариана Влосинского, который, будучи младше Никифора на тридцать лет, стал его другом и опекуном. На вопрос, о чем этот фильм, режиссер Кшиштоф Краузе ответил: «О гении и самопожертвовании. О смысле самопожертвования. Когда мы впервые встречаем Мариана Влосинского в павильоне минеральных вод, мы видим озлобившегося художника из тех, что рисуют транспаранты. Влосинский переживает творческий кризис. Ему как раз предложили повышение, перевод в Краков на ответственную должность в отделе культуры. От него будет зависеть судьба других живописцев. Он будет решать, кто художник, а кто нет (...) Для озлобленного человека это очень привлекательная перспектива (...) И как раз тогда в его жизнь случайно входит Никифор. Он зашел в мастерскую Влосинского на минуту, а остался на семь лет. Когда выяснилось, что у него открытый туберкулез, все двери в Кринице закрылись перед ним, люди жгли его рисунки. Влосинский остался ему верен, хотя в те годы работа под одной крышей с туберкулезным больным была связана с большим риском — тем более, что у него была семья. Влосинский заплатил за это личной трагедией. Однако несмотря ни на что опека над Никифором преобразила его жизнь. Он обрел внутреннее спокойствие, начал писать картины. Есть такое изречение: то что ты пожертвуешь другим, сохранится; то что ты оставишь себе, — пропадет. Таков смысл самопожертвования, жертвы». В другой беседе Краузе сказал: «Этот фильм родился из моих размышлений, из убеждения, что если хочешь изменить мир, надо сначала изменить самого себя (...) Никифор рисовал „исправленный" мир и давал людям возможность увидеть его именно таким — лучше и прекраснее. Кроме того он испытывал окружающих своим тяжелым характером: его можно было либо принять, либо отвергнуть. Это была проверка на милосердие, терпимость (...) Никифор

встретил на своем пути нескольких людей, которые на брошенный им вызов ответили „да". Я показал человека, который отдал ему все свое время, рисковал собственным здоровьем, пожертвовал семьей. Его история тронула меня, ибо я считаю такую позицию одним из путей к улучшению мира».

Рецензенты назвали фильм Краузе современным моралите, а Тадеуш Соболевский написал в «Газете выборчей»: «„Мой Никифор" Кшиштофа Краузе — фильм не для любителей душещипательных американских биографий. Это фильм для настоящих киноманов. Мера успеха Краузе определяется тем, что он не снял фильм об искусстве и художнике, но позволил зрителю ощутить „нечто". Как назвать это „нечто"? Добро? Небо? Бог? (...) Этот фильм излучает какую-то пленительную легкость, свободу, благодаря которой нам хочется не жалеть бедного художника, а смеяться».

Подобным образом воспринял фильм и Здислав Петрасик: «В один прекрасный день в мастерскую Влосинского является Никифор, нищий художник, за гроши продающий свои рисунки на криницком бульваре, — грязный, немощный, что-то бормочущий, непринужденно-нахальный, но свободный. Когда он идет в своих слишком длинных брюках, с тросточкой, он немного напоминает бродягу Чарли из незабываемых фильмов Чаплина».

С той лишь разницей, что усики Никифора не приклеены, бесформенная шляпа сидит как влитая на бесформенной голове, а смысл творчества заключается не в сведении мира к абсурду, но в его идеализации. И еще одна необыкновенная сцена из этого фильма. На открывшейся в 1967 г. выставке в варшавской «Захенте», которая подвела итог жизни Никифора, элегантная публика с демонстративным восторгом наслаждается работами художника-примитивиста, одновременно упиваясь своим знанием дела и добротой... и совершенно забыв о сидящем где-то в углу авторе. Скучающий Никифор принимает решение пойти в большой мир. Они с Влосинским выходят, но усталый Никифор не может самостоятельно спуститься по высокой лестнице, ведущей на улицу. Влосинский, его опекун и друг, берет на руки маленького человечка и сносит его вниз, словно мать, несущая измученного сына. Какая-то потрясающая стилизованная Пиета, в которой изменились главные действующие лица, но смысл остался прежним, выражающим безграничность любви и сочувствия. А может, и страдания?

Роль увечного художника сыграла Кристина Фельдман — замечательная эпизодическая актриса, артистка познанского Нового театра, хорошо знакомая зрителям по многим прекрасным ролям. Сегодня ей 84 года. За эту роль она удостоилась премии на Фестивале польских художественных фильмов в Гдыне. Все единодушно подчеркивают, что нелегко было бы найти более подходящего кандидата. А сама актриса на вопрос, трудно ли ей было войти в образ мужчины, отвечает: «Да что вы, разве у меня недостаточно воображения, чтобы на два часа превратиться в мужчину?» В самом деле, это получилось у нее превосходно.

Как я уже сказала, фильм Кшиштофа Краузе стал удобным случаем, чтобы напомнить о многоплановой личности самого Никифора. Были переизданы две книги, посвященные криницкому художнику: «История о Никифоре» Эллы и Анджея Банахов и «Никифор» Анджея Осенки и Збигнева Волянина. Его творчество было представлено на большой ретроспективной выставке в варшавском Этнографическом музее. В музее города Гдыни были выставлены рисунки из знаменитой коллекции проф. Ежи Занозинского. «Скорее всего, эти работы были созданы в конце жизни Никифора, — говорит историк искусства Хелена Домбровская. — В этих небольших рисунках художник отказывается от сложных повествовательных сюжетов, сохраняя при этом безошибочный художественный инстинкт и твердый, уверенный штрих (...) Эти чистые и непосредственные работы недвусмысленно возвращаются к источнику церковных икон. Насколько это был сознательный выбор художника, а насколько его обусловила болезнь, остается тайной».

«Мои картинки навсегда останутся после меня. Они не такие, как все остальные, потому что они мои собственные», — написал Никифор в одной из своих просительных записок, которые он показывал курортникам, когда, по словам представителя тогдашней власти, «бродяжничал в Кринице и побирался». Так оно и произошло: картинки криницкого самоучки сделали в мире головокружительную карьеру. А еще, как замечательно написали об этом в своей книге Элла и Анджей Банахи, «Никифор одержал над миром двойную победу: из врага он сделал друга, расположил к себе окружение и полностью преобразил его по своему желанию».

Лешек Шаруга

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Разные причины приводят к тому, что о России в Польше пишут все чаще, однако то, что пишут, — и в демократическом пространстве это выглядит само собой очевидным — трудно объять какой-то общей формулировкой. Одно не подлежит сомнению: в этих текстах все чаще звучит тревога, отражающая, с одной стороны, осознание эрозии польской восточной политики, до сих пор остававшейся цельной; с другой — по-прежнему открытый вопрос об эволюции посткоммунистических систем наших восточных соседей. Эти вопросы стали более отчетливыми после поездки польского президента в Россию.

На первой странице **«Тыгодника повшехного»** (2204, №41) Анджей Луковский рассматривает сложившееся положение в статье «По обе стороны зеркала»:

«С тех пор, как Польша перестала быть ПНР, Варшаве и Москве трудно найти общий язык. Российские власти не способны связно определить формы сосуществования с задиристым соседом, который до недавнего времени слушал приказы из Москвы как Десять заповедей, а теперь возымел амбиции быть полноправным членом европейского сообщества. Раздраженная Москва кидается от стенки к стенке: то не замечает Польши на карте, то истерически реагирует на всякую мелочь, недоброжелательное высказывание по ее адресу или отличающееся мнение в вопросах второстепенного значения».

Тут я сделаю краткое отступление, так как вопрос карты представляется мне с некоторого, уже довольно долгого времени весьма существенным. Часто ездя в Германию, я замечаю в высшей степени раздражающую, но много лет механически повторяемую там по разным случаям формулировку — в последний раз я услышал эти слова при представлении русской литературы (кстати, весьма компетентной и богатой): немцы называют Россию «нашим восточным соседом». Или я не понимаю слова «сосед», или у немцев тоже появляется склонность (подсознательная?) «не замечать Польшу на карте». Когда такая близорукость обнаруживается одновременно на востоке и на западе, это вызывает довольно драматические ассоциации... Вернемся, однако, к комментарию Луковского:

«Попробуем упорядочить польско-российскую солянку и поискать ответа на вопрос, зачем в таком случае Александр Квасневский отправился в Москву, натолкнувшись на волну критики — как в Польше, так и в России. Если он поехал, чтобы поговорить, ибо разговор всегда лучше, чем взаимные оскорбления, то это аргумент верный, но слабый. Глава государства не может ехать „поболтать" в чужую страну, вдобавок не проявляющую желания разговаривать. А если для того, чтобы подписать двусторонние экономические соглашения, то еще хуже. Откуда взялась идея подписывать отдельные соглашения, если пока еще не ратифицирован договор о партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Россией, расширенный на новые страны-члены ЕС? (...) Визит президента в Москву оказался на первых страницах польских газет, корреспонденты соревновались в выискивании интересных сюжетов, а телевизионные новости начинались с подробных репортажей. Между тем российское телевидение едва отметило это событие. В нескольких газетах появились дежурные упоминания. И нечему удивляться. Из-за стен Кремля Польша не видна. В российской доктрине внешней политики Варшава по-прежнему не рассматривается как важный, самостоятельный субъект. (...) Российская печать относится к Польше плохо. Визиту президента Квасневского предшествовала направляемая сверху недружественная кампания в СМИ».

Автор обращает внимание на попытку реконструкции зоны российского влияния за пределами СНГ при помощи угрозы манипуляции поставками нефти.

«Ибо у кого сегодня доступ к нефти, у того и власть, — подчеркивает Луковский и прибавляет: — Сигналы, посылаемые из Кремля, можно было бы сжато изложить так: не суйте нос в нашу „демократию", и вы сможете делать с нами дела. А если будете нас поучать, давать убежище чеченским эмиссарам и плохо писать о Путине, ничего не получите».

Вывод Луковского таков:

«Если принципы торговли не записать подробно в договорах, то в случае недоразумений не на что будет ссылаться. Если не определить ясно, на каком языке мы говорим — демократии или же шантажа в стиле советского министра Громыко, то нам будет трудно договориться».

И это самая истинная правда: основная трудность в отношениях между Польшей и Россией, как политических, так и экономических, — вопрос языка. Я лично не считаю, что политики обеих сторон сумеют решить этот вопрос, однако, с другой стороны, нравится это нашим партнерам или не нравится, а России придется в будущем разговаривать с Польшей тем же языком, каким она будет говорить с Евросоюзом, — другой возможности нет. Но прежде чем это произойдет, может быть, стоит принять во внимание язвительные замечания Войцеха Мазовецкого, сделанные по поводу поездки Квасневского в статье «Разыскиваемая» (**«Пшекруй»**, 2004, №41):

«Как это Кремль не поучает ни французскую, ни немецкую, ни британскую прессу, а только одну польскую? Неужто пресса в этих странах не заметила правды о Беслане столь же проницательно, как наша? Ну уж настолько-то мы о себе не воображаем. Попросту президент Путин не может себе позволить их критиковать. Это особенно ощутимо свидетельствует о слабости нашей позиции, в том числе и в рамках ЕС. Нас не будут уважать, если мы не приведем к сближению польской и общеевропейской внешней политики. В противном случае мы можем быть уверены в одном: Путин всегда будет безжалостно играть на этом».

Да, и будет разговаривать с Квасневским на языке «шантажа советского министра Громыко».

Разумеется, вопрос языка — это, хотя бы в некоторой степени, функция понимания государства и общества. Отсюда и то внимание, с которым мир, а значит и Польша, наблюдает перемены в России, происходящие в этой сфере. Этой проблематикой занялся политолог Влодзимеж Мартиняк на страницах **«Европы»** (2004, №27), очень хорошо редактируемого культурного приложения (выходит по средам) к заурядной, собственно говоря, бульварной газете **«Факт»**. В статье «Путин и террористы» он пишет:

«Первым откликом на внесенные Владимиром Путиным предложения перемен в устройстве России было огромное недоумение. Хотя некоторые из этих проектов (например, реформа закона о выборах) обсуждались уже несколько месяцев, никому не приходило в голову, что ответ на серию террористических актов окажется таким радикальным и одновременно настолько оторванным от сути дела. (...) Реформа закона о выборах и замена существующей смешанной системы системой исключительно пропорциональной слабо связана или вовсе не связана с вопросом терроризма. Цель большинства объявленных реформ — скорее ослабление позиций глав регионов, а не борьба с терроризмом».

И далее, анализируя язык Путина, Мартиняк пишет:

«Трудно не заметить, что большинству его речей присуща одна характерная черта, которая особенно явно обнаружилась в двух выступлениях, посвященных выводам из трагедии в Беслане. Путин любит пафос и высокий стиль, когда выступает как государственный муж, озабоченный будущим своей родины. В таких ситуациях он часто использует обороты, почерпнутые из имперского политического словаря. Однако когда „государственный муж" начинает формулировать конкретные задачи, которые должно выполнить государство и его органы, он тут же превращается в заурядного чиновника. (...) В этих фрагментах его выступлений не видно стратегического проекта, зато от них веет бюрократической скукой и отраслевой банальностью».

Что ж, возможно, «вопросы языкознания» и не принадлежат к тем, которыми занимается политология (а жаль), однако стоит обратить внимание на тот факт, что это в конце концов логическое дополнение, а не двойственность: если посмотреть внимательней, содержание «имперского политического словаря» укоренено в бюрократической лексике. Зато открытым остается вопрос, стало ли оживление такого языка реакцией Путина на терроризм, или, наоборот, теракты создали удобный предлог для активизации этого языка? Мартиняк выбирает в этой альтернативе второй ответ и при этом подчеркивает:

«Каждая новая реформа Путина пожирает хвост предыдущей. На протяжении нескольких лет органы власти в России заняты главным образом самими собою, а не решением необычайно трудных проблем этой страны, в том числе и тех, что составляют причину терроризма. Международная общественность должна критиковать президента России не только за то, что он не знает меры в борьбе с терроризмом, но еще и за то, что терроризм он рассматривает как повод постоянно совершенствовать и лелеять свою любимую „вертикаль власти"».

Было бы, однако, столь же полезно проанализировать язык, которым Путин высказывается на тему терроризма, ибо тут выявляется и мышление о государстве и обществе. А также о собственном будущем самого Путина. По этому вопросу Мартиняк высказывается недвусмысленно:

«На постсоветском пространстве воплощаются различные варианты сохранения власти после двух мандатов. В расчет входит либо продление мандата, либо отмена ограничений на число мандатов. Возможна также передача власти внутри семьи. Президент Леонид Кучма предложил более „изящный" проект, предусматривающий увеличение полномочий премьер-министра и выборы президента парламентом. Способ решения этого вопроса на Украине окажет серьезное влияние на развитие событий в России. По сути предложения Путина идут в том же направлении, создавая на региональном уровне прецедент избрания единоличного органа исполнительной власти

местным законодательным собранием, а не, как это было до их пор, на всеобщих выборах. Этот прецедент может быть затем использован на федеральном уровне. Эти изменения можно было бы счесть результатом эволюции политического устройства, если бы не одно обстоятельство: путь к этим изменениям открыла в России последняя волна террористических актов. Таким образом, это не только результат постепенной эволюции, как в других постсоветских государствах, но и результат внезапной атаки на конституционный строй государства. (...) Обещание устойчиво ограничить демократические процедуры доказывает, что террористы действительно атаковали конституционное устройство России. Предложения, выдвинутые Путиным, по существу представляют собой результат совместного „законодательства" президентской администрации и террористов. Если эта тенденция укрепится и полномочия конституционных органов государства будут и дальше ограничиваться, президент и террористы станут единственными центрами власти в России».

Признаюсь, что логика этого рассуждения несколько меня поражает, но лишь до известной степени: в конце концов, фундаментально понимаемые «спокойствие и порядок» столь же успешно, как и терроризм, парализуют возможность функционирования структур гражданского общества. Но на моей памяти до сих пор не было ни одного государства, в котором две эти силы действовали бы одновременно и суверенно. Обычно государственные «спокойствие и порядок» наводятся с помощью террора, но это мы уже проходили. Поэтому вопрос о смысле подзаголовка статьи Влодзимежа Мартиняка — «Кто правит Россией?» — может незаметно приобрести странную язвительность.

Как бы полемизируя с такими гипотезами, бывший министр иностранных дел Польши Анджей Олеховский пишет в статье «По-прежнему одни?» (**«Политика»**, 2004, №41):

«Путь в Москву тоже ведет через Брюссель. Очередные „трудные" (т.е. неудачные) официальные встречи должны бы уже научить нас, что одни мы мало чего добьемся. Тем более, что наши мечты заходят далеко: вопреки истории мы хотим, чтобы Россия стала нашим стабильным соседом, прочно закрепленным в европейской архитектуре, лишенным имперских амбиций, практикующим демократию, права человека и рыночную экономику. Россия, несмотря на то, что она прошла уже долгий путь (еще 15 лет назад это была „империя зла"!), все еще далека от этого идеала и по-прежнему экспортирует ненадежность и неустойчивость. К идеалу мы, однако, приблизимся не путем „нажима на Кремль", но высоко и упорно ставя вопрос о месте назначения России. Нет сомнения, что Россия принадлежит к европейской семье во всех ее аспектах: культурном, экономическом, политическом. Раздающиеся там фантазии насчет „азиатского выбора" принадлежат лишь сверхутонченным интеллектуалам да политикам державной направленности. Отсутствие концепции устойчивого размещения России в европейской постройке непонятно и небезопасно. Россия, лишенная „европейского будущего", оставленная вне поля тяготения европейских норм и стандартов, может всего лишь совершенствовать свою особость и продолжать прежнюю историю. А какой у нее еще выбор? Место члена „большой восьмерки", призываемого к глобальной ответственности? „Матушки России", которую умоляют о помощи сироты бывшего СССР? Потенциального партнера в создании противовеса Америке? Вся эта опасная напряженка накладывается на автократические тенденции и великодержавные грезы российской общественности. Поэтому мы прежде всего должны побудить европейцев и американцев (...) выработать такое место для этой страны в атлантическом сообществе, которое приносило бы пользу Европе и удовлетворение России».

Анджей Олеховский, по-видимому, считает, что перед Россией стоит некая историческая альтернатива. Говоря, что Россия могла бы продолжать свою историю — и опасаясь этого, — он полагает, что в этом случае она останется вне поля тяготения норм и принципов европейской политики. Выходом, как я понимаю, он считает принципиальный перелом и изменение языка политики — как внутренней, так и внешней. Возможно ли это? Такой вопрос, наверное, мучает десятки, а то и тысячи политологов. Мучает ли он самих российских граждан? И кого из них? Принадлежит ли к таковым Путин? Эти вопросы, по-видимому, продолжают оставаться открытыми, так же, как открытым остается вопрос о возможности влияния политики Евросоюза на то, что происходит в России. Когда Олеховский говорит о российской общественности, не до конца ясно, о ком идет речь. Но одно вроде бы не подлежит сомнению: существуют такие течения внутри этой общественности, политическая направленность которых пробуждает надежды на то, что Россия отойдет от традиции автократических и великодержавных грёз. Только вот на последних выборах в думу именно эти течения потерпели сокрушительное поражение.

Янина Куманецкая

ЛЕТОПИСЬ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

• В сентябре в Люблине прошел II Конгресс христианской культуры — единственная в Европе подобного рода встреча. В нем приняли участие гости со всего континента — в частности, московский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, о. Томаш Галик из Праги и философ-француженка Шанталь Дельсоль. По инициативе митрополита Люблинского архиепископа Юзефа Житинского ученые, деятели культуры, политики и философы собрались, чтобы обсудить вопрос влияния христианства на строительство объединенной Европы. Архиепископ Житинский открыл дискуссию о честности политиков, поставив вопрос, почему кризис доверия к политикам углубляется столь быстро. «Этот процесс зашел так далеко, что, боюсь, честные люди будут сторониться политики, из-за чего это негативное отношение будет только усиливаться», — сказал архиепископ. Участники конгресса посмотрели волнующую мистерию «Поэма о месте», разыгранную на пустой площади возле люблинского замка. До войны там била ключом жизнь еврейского квартала, который затем сравняли с землей немцы. Мистерия завершилась зажжением единственного фонаря, сохранившегося там со времен войны. Теперь он будет светить днем и ночью. В заключительном обращении участники конгресса написали: «Европейская культура взяла все лучшее из иудеохристианской концепции человека. Ее развитие определяли в равной мере основатели университетов и строители соборов. В нашу общую историю вписан также опыт Освенцима и Колымы. Поэтому память о трагических событиях обязывает к критике тех направлений в культуре, которые провозглашают окончательную смерть человека, ставя его в один ряд с животным миром». (Подробнее см. в этом номере статью Петра Войцеховского на стр. 28.)

• На 17-м Съезде польских историков рассматривался прежде всего вопрос, какие документы нашего времени следует сохранить, чтобы потомки могли всесторонне описать современную нам историю. Проф. Норман Дэвис обратил внимание на то, что «в современном мире появляется огромное количество информации. Как выбрать основное, как все это оценить? Тем более, что множатся ложные, искаженные и односторонние сведения о прошлом, которых никто не опровергает».

• О национальной стратегии развития культуры говорил на специальной пресс-конференции министр культуры Вальдемар Домбровский. Министр с удовлетворением отметил, что представленный недавно бюджет министерства — лучший за все 15 лет существования Третьей Речи Посполитой. «Стратегия предполагает, что, планируя культурную жизнь, мы должны признать ее общим благом, взглянуть дальше срока полномочий очередного правящего блока и дальше групповщины», — сказал Домбровский. Золотые слова. Лишь бы только его преемники думали так же.

• Премию Фонда польской культуры «Золотой жезл» и прилагающиеся к ней 100 тыс. злотых жюри присудило знаменитому драматургу Славомиру Мрожеку за творчество в целом. После возвращения из Мексики Мрожек уже восемь лет как живет в Кракове. «Он не принимает активного участия в публичной жизни, — пишет Марек Микос. — Это проницательный, самоироничный мудрец, который следит за тем, чтобы мы ни на минуту не впали в самодовольство, так как это грозит катастрофой. Хорошо, что есть такой человек». Мрожек — шестой лауреат «Золотого жезла». Первым был Ежи Гедройц.

• В Варшаве на 76-м году жизни скончался Ежи Лисовский, главный редактор журнала «Твурчость» («Творчество»), знаток и прекрасный переводчик французской литературы на польский, а также польской литературы на французский.

• Вышла давно ожидаемая книга замечательного репортера Рышарда Капустинского «Путешествия с Геродотом». Рассказывая о своем герое, автор, в частности, сказал: «Часто история сбора информации о каком-то событии бывает гораздо интереснее самого события. Именно так было с Геродотом. Меня страшно интриговало, как он прони-

кал туда, где хотел оказаться, как искал нужных людей, как убеждал их рассказывать о себе, о своей жизни, как слушал и запоминал. Это целая репортерская эпопея (...) Он не был купцом, дипломатом или военным. Он проторил свой собственный путь, которым шел, — путь, освещенный его любознательностью и восхищением миром». Капустинский рассказал также о влиянии, которое оказали на него работы античного историка: «Я осознал, что не могу смотреть на мир сквозь призму сенсационных событий. Современные СМИ руководствуются девизом: если нет события, то нет и мира. Увы, погоня за новостями искажает образ мира. Земля не такая, какой показывают ее информационные передачи».

• **«Эта книга вызовет эмоции и полемику, но прежде всего, в отличие от многих награждаемых и премируемых изданий, ее будут читать», — написал о книге Януша Гловацкого «Из головы» Кшиштоф Маслонь. Януш Гловацкий — один из интереснейших современных польских писателей, известный насмешник, пишущий фельетоны, киносценарии, театральные пьесы и, наконец, романы. И хотя ему уже за шестьдесят, он все еще умеет удивить читателя. «Из головы» — книга автобиографическая. Рецензенты газеты «Жечпосполита» пишут о ней так: «Циник и насмешник — такую репутацию Гловацкий заработал себе тяжелым трудом. Однако что можно сказать после прочтения волнующих глав о Варшавском восстании, открытии памятника погибшим в Едвабне или нападении на Всемирный торговый центр, свидетелем которого ему довелось быть? Эту книгу написал человек, которого мир ужасает, пессимист с огромным чувством юмора. Еще раз подтвердилась истина, что ирония — это защитные цвета большой чуткости».**

• Интерес критики вызвала также книга Рышарда Матушевского «Алфавит. Избранное из памяти 90-летнего старца». Что представляет собой этот «Алфавит»? Как пишет Рышард Марек Гронский, это «том в пятьсот страниц, описывающий жизнь и нравы (...) Обо всем этом рассказывает свидетель, наблюдатель и активный участник событий, вошедших в историю литературы, политики, интеллектуальной моды (...) Автор "Алфавита" — это (...) связующее звено между старой и новой эпохами. Он подсаживался за столик к Гомбровичу в "Зодиаке", видел знаменитый столик скамандритов в "Земянском", заглядывал к Мажецу, где комментировал действительность Антоний Слонимский, бывал в кофейне Госиздата и, наконец, (...) обогащал своими познаниями полониста и критика столик в "Чительнике" (...) Записанные на пленке памяти голоса свидетельствуют о высоком классе этой книги — лучшего учебника литературы».

• **Войцех Кучок не ограничился получением главной польской литературной премии «Нике» (см. предыдущий номер «Новой Польши»). Снятый по мотивам его прозы дебютантский фильм Магдалены Пекож «Полосы» удостоился «Золотых львов» — премии за лучший фильм на Фестивале польских фильмов в Гдыне, и еще нескольких премий фестиваля — в частности, зрительской. Другие гдыньские премии достались «Свадьбе» Войцеха Смажовского (специальная премия жюри) и фильму Пшемыслава Войцешека «Вниз по разноцветному холму» (за лучшую режиссуру). Подводя итоги фестиваля, Тадеуш Соболевский написал: «Так, значит, отечественное кино не переживает упадок, но наоборот — пытается встать на ноги, заговорить собственным голосом? Кино ищет новые способы, чтобы преодолеть терзающее нас чувство разочарования, беспомощности, тревоги. Прежнее польское кино в свои лучшие времена играло терапевтическую роль — избавляло от комплексов, приобретенных вследствие трагической истории и больного общественного строя. Сегодня нам нужна совсем другая терапия (...) надежды (...) Это уже не надежда на великое изменение мира, как раньше. Речь идет о том, чтобы самому найти путь к преображению, отыскать точку опоры, пространство внутренней свободы».**

• Премию за лучший сценарий получил в Гдыне Юлиуш Махульский, написавший сценарий к собственной комедии «Винчи». Мастер комедии и юмористического детектива не обманул ожиданий своих поклонников и на этот раз. «Винчи» — это превосходно построенная, выдержанная в прекрасном темпе детективная комедия с замечательными ролями Яна Махульского и дебютантки Камиллы Баар. Действие разворачивается вокруг попытки украсть самую известную из хранящихся в польских музеях картину — «Даму с горностаем» Леонардо да Винчи. Отсюда и название фильма. И хотя знатоки придираются к тому, что в фильме слишком мало философии и глубоких подтекстов, зрители веселятся вовсю.

• **В залах картинной галереи «Захента» прошла выставка, посвященная 100-летию варшавской Академии художеств. Моника Малковская пишет о ней так: «Как правило, юбилейные выставки бывают скучными и помпезными, однако авторам экспозиции, подготовленной к 100-летию варшавской Академии художеств, удалось этого избежать. Из истории вуза они выбрали последние 60 лет и с исключительной честностью проанализировали их, не обходя молчанием ошибок и искривлений соцреализма. Их намерения хорошо отражает название выставки: "Долг и бунт"».**

• В течение нескольких дней в варшавской Национальной библиотеке можно было посмотреть очень необычную выставку. На ней были представлены ранние, никогда не выставлявшиеся работы Винцента ван Гога. Засунутые в свое время семьей художника на какой-то чужой чердак, они появились на рынке в 30-е годы. По словам организаторов выставки, в 1938 г. некий голландский коллекционер приобрел три папки с 250 работами из ящиков, лежавших на том чердаке. Эти работы вместе со всеми остальными вскоре отправятся в США. На 2005 г. запланирован торжественный показ всех найденных произведений. Между тем четыре картины, написанные маслом, 11 рисунков и две акварели из этого комплекта были показаны в Польше — сначала в Варшаве, а затем в Седльце и в Сталёвой-Воле.

• **«С некоторых пор этот фестиваль перестал лелеять классиков XX века и занялся по-настоящему современной музыкой, — пишет о последней «Варшавской осени» Яцек Марчинский. — Слушателям (...) все чаще приходится иметь дело с музыкой, создающейся чуть ли не у них на глазах и часто не выходящей за рамки посредственности (...) "Осень" привлекает прежде всего молодых слушателей, интересующихся всем новым. Залы, в которых проходили в этом году концерты, ломились от публики, так что иногда двери просто оставляли открытыми, чтобы стоящие снаружи могли послушать».**

• В этом году в фестивале «Wratislavia Cantans» приняли участие коллективы из 14 стран. Многие из них вызвали восторженную реакцию слушателей. Этот фестиваль — один из самых необычных. «На протяжении десятилетий не было в мире фестиваля, построенного таким образом, — пишет Дорота Шварцман. — Организованный в 1966 г. фестиваль "Wratislavia Cantans" ("Поющий Вроцлав") был изначально задуман как ораториально-кантатный. В старинных интерьерах вроцлавских церквей зазвучали монументальные и камерные вокально-инструментальные сочинения разных эпох. Человеческий голос, по праву считающийся совершеннейшим и самым естественным музыкальным инструментом, возвышенные, трогающие душу слова, монументальность, порождающая ощущение мощи, — благодаря всему этому публика долгие годы до краев заполняла просторные нефы, сидела на ступенях и амвонах. Фестиваль был праздником, охватывавшим весь город». Пожалуй, так это выглядит и сейчас, разве что концерты проходят не в одном лишь Вроцлаве, но и во многих других городах Нижней Силезии. В будущем году фестиваль будет праздновать свое 40-летие. Ничего удивительного, что уже сейчас начинаются дискуссии о формуле и программе предстоящего праздника музыки. Будем надеяться, что его уровень будет не ниже, чем в этом году.

• **Уже в восьмой раз в Варшаве прошел Фестиваль науки, организованный под покровительством всех столичных вузов и Польской Академии наук. В этом году на фестивале были затронуты следующие темы: «Гены против мемов», «Польский патриотизм», «Стресс наш насущный», «Природа времени и пространства: физики и философы», «Теория заговора», «Этическая революция: групповая фотография 2004 года» и «Тракт философов». Программный манифест Фестиваля науки гласит: «В 1989 году мы начали менять польскую жизнь. Все началось с гражданских свобод, демократических принципов и институтов. Однако этого недостаточно. Сегодня мы стоим перед другим, быть может, более трудным вызовом: каким образом сделать так, чтобы в объединяющейся Европе мы были равноправными партнерами, а не только рабочими или техниками, воплощающими чужие идеи? Решающую роль здесь сыграет конкурентоспособность польских товаров на мировых рынках, а в расчет будут приниматься не физические усилия, но научная мысль, умело претворенная в жизнь с помощью техники (...) Необходимо убедить не только польских политиков, но и все общество, что инвестиции в науку окупаются (...) От уровня науки, от степени ее применения и образованности общества будет зависеть, сможем ли мы понимать мир и существовать в нем. Фестиваль науки — это вклад польской научной среды в приближение лучшей Польши». Или, иными словами, отсутствие инвестиций в науку — это инвестиция в невежество.**

МЫ СПОСОБСТВУЕМ МОБИЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Беседа с Ружей Тун, президентом Фонда им. Робера Шумана в Польше

— С какого времени в Польше действует Фонд им. Робера Шумана?

— Он был основан в 1991 г. лицами, связанными с кругом Тадеуша Мазовецкого. Из «отцов-основателей» по сию пору в фонде активно действуют двое: сам Тадеуш Мазовецкий (бывший премьер-министр), занимающий пост председателя Совета учредителей, и Петр Новина-Конопка (бывший государственный министр), председатель Программного совета.

Ружа Тун

После перелома 1989-1990 гг., когда мы начали строить демократию и свободный рынок, естественным следствием этого стало стремление включиться в структуры Европейского союза. Целью фонда была поддержка всяческих политических и общественных инициатив, которые готовили бы поляков к вступлению в Евросоюз. Тогда мало кто этим занимался.

— Насколько ваш фонд зависит от Брюсселя?

— Он вообще ни от кого не зависит. Это чисто польская организация. Даже само название «фонд», строго говоря, не совсем соответствует действительности: своих финансовых средств у нас нет. Это наименование часто приводит к недоразумениям, потому что люди думают, что мы раздаем какие-то стипендии или участвуем в финансировании различных вполне похвальных мероприятий. К сожалению, таких возможностей у нас нет. Очень многие наши начинания опираются на помощь и участие волонтеров, работающих бесплатно. Деньги на реализацию проектов мы тоже должны доставать сами. И если бы не сознание того, что мы действуем ради возвышенной цели, а не для собственной выгоды, ничего бы у нас не вышло. При содействии проевропейских учреждений и кругов и прежде всего благодаря самоотверженности волонтеров мы можем реализовать различные программы — например, информационного характера или даже в каком-то смысле лоббирующие ценности ЕС, призывающие к активной гражданской деятельности. Так называемое гражданское чувство, или осознание своей гражданской позиции, а вернее говоря, отсутствие такого чувства, — это основная проблема всех посткоммунистических стран. Люди не ощущают ответственности за то, что принадлежит всем нам, за жизнь всего общества; в их проблемах, как и прежде, виноваты пресловутые «они».

Нам мешает еще и то, что люди нас ассоциируют с крупными дотациями ЕС или же с дотациями из какого-то выдуманного «общеевропейского фонда Шумана» — а все из-за названия. Мы назвались именем Робера Шумана, потому что

* Робер Шуман (1886-1963), род. в Люксембурге, до 1918 г. был германским подданным, затем — гражданином Франции. По образованию юрист, он был первым французским парламентарием, арестованным гестаповцами после оккупации Франции; с 1942 г. принимал участие в движении Сопротивления. В 1947-1948 гг. — премьер-министр Франции, неоднократно занимал также посты министра финансов и министра иностранных дел. 9 мая 1950 г. выступил с декларацией, которая положила начало Европейскому объединению угля и стали, ставшему первым ростком европейской интеграции. В 1958-1960 гг. был председателем, а затем почетным председателем Европейского парламента.

наши учредители питали к нему глубокое уважение. Он стал символом процесса, который возник между Германией и Францией в 50-е годы.* Оказалось, что два враждебных государства и народа после кровавой II Мировой войны сумели перейти к тесному и доброжелательному сотрудничеству, которое ознаменовало собой начало формирования Европейского экономического сообщества. Робер Шуман был олицетворением личной скромности, трудолюбия, смелых и дальновидных мечтаний и политического прагматизма. Это сочетание редкое — и чрезвычайно эффективное. Причем все это уходило корнями в его глубокую приверженность христианским идеалам.

— Какие инициативы фонд поддерживает, а зачинателем каких является сам?

— Мы ведем работу главным образом в двух направлениях — образование и активизация проевропейских кругов общества. Вначале мы проводили курсы, конференции, встречи на тему самого Евросоюза — что это такое. Например, перед референдумом о вступлении в ЕС мы рассказывали о договоре, оформляющем наше членство в ЕС, об условиях, на которых мы туда вступаем, почему каждый гражданин должен проголосовать, в чем заключаются основы функционирования демократии. В то время очень многие говорили нам: «Зачем мне идти на референдум? Что изменит один мой голос?» Поэтому мы поставили перед собой задачу: объяснять людям, как важен голос каждого из нас, или что структура Евросоюза и Польши будет зависеть только от нас, потому что мы сами должны ее выработать. Теперь приближается референдум о конституции ЕС, чрезвычайно важный для всех нас в Евросоюзе. Основываясь на тексте конституционного договора, в котором сформулированы все важнейшие принципы функционирования ЕС, мы снова объясняем, что значит для нас Евросоюз.

В рамках активизации мы оказываем содействие проевропейским организациям на местах, на территории всей Польши. Мы способствуем обмену информацией между ними и организуем дискуссионные форумы, курсы, конференции, конкурсы и т.п.

Мы занимаемся и такими крупномасштабными событиями, как «Шумановские демонстрации» в честь Дня Европы, в которых участвует по несколько тысяч человек из всех уголков Польши, проходящих по улицам Варшавы, и совсем небольшими, специализированными мероприятиями, как, например, занятия с журналистами.

— Какова тематика организуемых вами дискуссий?

— Например, в ходе «Польских европейских встреч» участники конференции на тему «Объединенная Европа и национальное наследие» пытались найти ответ на такие по-прежнему актуальные и волнующие всех вопросы, как соотношение между идеей «общей Европы», с одной стороны, и национальным самосознанием и устремлениями различных народов — с другой; какое место могут занять в будущей Европе государства, не входящие в состав ЕС, или как осуществить на практике идею «европейского образования».

В дискуссиях принимали участие видные представители интеллектуальных кругов со всей Европы. Мы организовали ряд дискуссий под общим названием, которое многое объясняет — «Польские надежды и опасения» — и множество других.

Мы принимаем у себя волонтеров из стран ЕС, которые приезжают в различные польские города и там участвуют в семинарах и дискуссиях о стереотипных представлениях и подлинной действительности. В свою очередь, мы направляем польских волонтеров в другие страны-члены ЕС. Мы поддерживаем сотрудничество примерно с полутора тысячами европейских клубов, действующих в школах (главным образом, в средних).

— С какими слоями населения вы работаете?

— С самыми разными. Чем труднее доступ к информации в данной социальной среде, тем охотнее и активнее мы готовы там работать.

— А какие из них особенно открыты, особенно склонны к сотрудничеству?

— Легче всего работать в больших городах, среди студентов, предпринимателей, людей с хорошим образованием. Но они и так настроены «проевропейски», так что мы на них меньше всего и сосредотачиваемся. Кроме того, в городах доступ к информации настолько облегчен, что только от доброй воли человека зависит, захочет ли он приобрести необходимые знания. В небольших городках трудностей больше, поэтому мы уделяем им больше внимания. Политиков они особенно не интересуют, мало кто туда ездит. У нас множество контактов с воеводствами, расположенными у нашей восточной границы — Подлесским, Люблинским, Подкарпатским, — но и с Силезией тоже. Разные организации из этих регионов обращаются к нам и предлагают сотрудничать. Приглашений гораздо больше, чем позволяют наши возможности, так что мы выбираем те места, куда труднее всего добраться.

— И какие же вопросы задают вам люди в этих местах? Есть ли у них хоть какое-то представление о Евросоюзе?

— Иногда они просто на удивление хорошо осведомлены, особенно учащиеся и члены местных органов самоуправления. Но иногда приходят люди, которые мыслят только готовыми фразами или стереотипами. Нередко в ходе встреч выражались опасения, что сильные страны будут над нами доминировать, что они скупят наши земли и предприятия, что мы утратим суверенитет. Мы старались проводить различие между фактами, опытом других стран, прогнозами и пропагандой. Впрочем, мне представляется, что теперь, через сто дней после нашего вступления в ЕС, все эти эмоции в значительной степени приутихли. Парадоксально, но социальная группа, наиболее опасавшаяся Евросоюза, крестьяне, быстрее всего почувствуют на себе реальные преимущества нашего членства.

Наша деятельность не направлена на поддержку какой бы то ни было партии, мы не за правительство и не за оппозицию, и благодаря этому люди верят в то, что мы им говорим.

Одни задают вопросы о возможности получения дотаций. Учащиеся боятся, что в ЕС у них не будет никакой перспективы, потому что у нас хуже качество образования. Они не говорят на иностранных языках, потому что на самом деле преподаватели иностранных языков не очень охотно идут работать в эти маленькие городки или поселки. Мы организуем для молодежи различные конкурсы, которые становятся стимулом для дальнейшего углубления знаний.

Во всех наших контактах характерно то, что почти всегда разговоры о ЕС кончаются разговором о Польше, и оказывается, что наши опасения отражают всего лишь нашу собственную неуверенность в своих силах. Потому что мы разочарованы нашей демократией, нашими правителями, потому что мы уже не очень верим в то, что здесь действительно удастся что-то изменить к лучшему. Иногда незнание основных механизмов демократии просто поражает. В одном небольшом городке люди сказали нам, что поскольку ни один политик им не нравится и все это уже опостылело, то они просто не пошли голосовать, так что из их избирательного округа в Сейме нет ни одного представителя. Они сами и общественная жизнь — это два разных мира, не имеющих между собой, по их мнению, ничего общего.

В этих беседах мы не забываем о том, что в сегодняшней Европе стоит на первом плане: ведь Евросоюз — это не только экономическое, но прежде всего культурное содружество, общий исторический опыт, о котором мы вспоминаем иногда с гордостью, а иногда с ужасом, общие ценности, общие христианские корни. И сколь же ценны здесь высказывания мудрых представителей старших поколений, испытавших на себе все тяготы польской истории! Они помнят европейские политические катаклизмы, связанный с ними свой собственный драматический опыт и убеждают нас, что только общими усилиями мы сможем уберечься от множества трагедий и безумств. Я никогда не забуду этих замечательных реплик из зала во время самых горячих споров.

— Участвуя во встречах по всей Польше, замечаете ли вы различия — как в материальной, так и в духовной сфере — между Польшей крупных городов и Польшей провинциальной?

— Да, замечаю, и различия эти огромны. Я считаю, что все политики должны — да что там, обязаны! — во что бы то ни стало время от времени ездить в провинцию, чтобы своими глазами увидеть, как там на самом деле живут люди. Разумеется, различия видны и в самой столице. Когда-то я была кандидатом в депутаты одного из варшавских районных органов самоуправления. Я тогда обошла несколько тысяч квартир в своем избирательном округе и увидела, что нередко по соседству обитают нищета, трагедия — и комфорт, даже роскошь. И это в Варшаве, в столице — а что ж тут говорить о провинции?

Политики приезжают к своим избирателям перед выборами, после чего, уже находясь на выборной должности, перестают ими интересоваться и навещать их, прекрасно понимая, что эта встреча может оказаться для них слишком трудной. Они высказываются в СМИ и говорят таким языком, которого их избиратели просто не понимают и потому чувствуют себя обманутыми и покинутыми.

Наряду с различиями в материальном уровне между, как принято говорить, Польшей «А» и «Б», то есть первого и второго сорта, существуют еще и различия, коренящиеся в том, что провинция отрезана от новостей, от информации о том, что делается в Польше, Европе и мире. Быть может, эта оторванность вызвана безволием, необразованностью, непониманием смысла происходящих событий. Есть такие места, куда даже газет не привозят, потому что там их все равно никто не покупает. А ведь иногда бывает достаточно всего одного человека с воображением, который устраивает регулярные дискуссионные встречи в доме культуры, школе или в церковном приходе. В таких местах и атмосфера совершенно иная, и уровень знаний значительно выше. Иногда эту роль играет ум-

ный и активный ксендз, но по большей части — люди вполне светские: иногда это представители местных органов самоуправления или неправительственных организаций (НПО). Огромную роль здесь призвана играть школа, что она иногда действительно делает. Мне довелось познакомиться с несколькими чудесными учителями, которые хотели у нас приобрести дополнительные знания, и впоследствии им через детей удается пробиться с этой информацией к широким массам населения.

— Есть ли надежда, что принадлежность к Евросоюзу сможет изменить эту нездоровую ситуацию? Что политики возьмут на себя ответственность за своих избирателей, а Польша «А» и «Б» сольются в одну Польшу?

— Это вопрос доброй воли. Если политики не захотят ничего изменить, то и не изменят. А политики будут такими, каких мы сами выберем. В большой степени здесь может помочь распространение знаний. Активным, образованным обществом не так-то легко манипулировать.

— В Польше уже существуют школы и клубы, носящие имя Робера Шумана. Можно ли это отнести к заслугам вашего фонда?

— Действительно, таких школ уже немало. Сама личность Робера Шумана известна все шире и шире. Я надеюсь, что процесс его беатификации вскоре завершится.**. Шуман мало говорил в своих официальных выступлениях о своей вере, своем католицизме, но в жизни всегда неуклонно действовал в соответствии с принципом: «служи ближнему своему». Он посвятил свою жизнь реализации идеи общей Европы, в то время жестоко искалеченной войнами. Когда он вместе с Конрадом Аденауэром и Альчиде де Гаспери основал Европейское объединение угля и стали, отношения в Европе, отношения между их странами были еще отягощены бременем недавнего военного прошлого. Шуман — это живой пример того, что политика вовсе не обязательно должна быть грязной, коррумпированной и эгоистической. У него была мечта, которая служила людям, и он посвятил ей всю свою жизнь. Его пример достаточен, чтобы опровергнуть отрицательный стереотип политикана.

В школах, носящих его имя, ученики и вся школьная общественность имеют возможность глубже познакомиться с его деятельностью и с его моральными принципами. Этот наш современник — настоящий святой, а святой политик — это абсолютный уникум. Быть может, мы хоть немножко попробуем ему подражать?...

— В будущем ваш фонд намерен действовать в рамках Веймарского треугольника. В чем будет заключаться эта деятельность?

— Все это звучит довольно помпезно, потому что фактически мы — всего лишь небольшая группа из нескольких человек... «Веймарский треугольник», представляющий собой консультационный форум Германии, Франции и Польши, и носящая координационный характер «Вышеградская группа», включающая в себя Венгрию, Польшу, Словакию и Чехию, — все это прекрасные идеи, не воплотившиеся в серьезные структуры. Практически они функционируют только на бумаге. Мы, поляки, возмущаемся тем, что Франция и Германия оказываются такими сильными и влиятельными. Но их позиция стала результатом того, что они сумели переломить взаимную неприязнь и претензии, связанные с «делами давно минувших дней», и завязать тесное сотрудничество. Для них же тоже важно, чтобы на востоке у них был сильный партнер, который принимал бы активное участие в принятии совместных решений! И тут-то огромную роль могла бы сыграть Польша, польские граждане. Пока что это сотрудничество весьма слабое. Согласно последним опросам общественного мнения, поляки считают, что сегодня больше всего их не любят именно французы и немцы. Откуда возникает такое мнение? Разумеется, атмосфера ухудшилась после нашей закупки 48 американских истребителей, после иракского конфликта, после горячих споров о договоре, подписанном в Ницце и предусматривавшем более выгодный для нас метод подсчета голосов в Европейском совете, а также после дискуссий о включении в текст европейской конституции упоминания о роли христианства в истории Европы. Но мы напрасно подходим к этим вопросам столь эмоционально.

Мы должны скорее подчеркивать значение Веймарского треугольника, в рамках которого можно создать великолепную платформу для более близкого знакомства и понимания друг друга. Именно из различий нужно создавать что-то общее. Крепкая ось «Париж—Берлин—Варшава» — это чрезвычайно серьезное предложение. С точки зрения НПО — это еще одна возможность осуществлять обмен на уровне отдельных граждан (учащихся, целых школ, журналистов), устраивать

** Папа Иоанн Павел II намеревается в этом году отправиться в Страсбург, чтобы причислить Робера Шумана к лику блаженных. Сам процесс, предваряющий его беатификацию, ведется с начала 90-х годов.

ознакомительные посещения, встречи, молодежные слеты и лагеря. Ничто так не разрушает стереотипы, как непосредственные контакты и реализация совместных проектов.

Столь же важна и Вышеградская группа. С ее членами нас тоже объединяет общее прошлое. По правде говоря, я не очень хорошо понимаю, почему между нами еще существуют границы, раз уж были отменены все ограничения, касающиеся таможенных пошлин и виз. Никаких границ уже вообще не должно быть, а нас по-прежнему будят по ночам в поездах.

— В чем заключается программа фонда «Партнерство для Европы»?

— Это начинание, которое еще только развивается. Между собой мы называем ее «восточной программой». Пока что мы сотрудничаем только с Украиной и Белоруссией. Однако с тех пор, как мы вступили в Евросоюз, я замечаю все больше людей, которые рассматривают наших восточных соседей как важных партнеров. И для меня это весьма обнадеживающий знак. Мы хорошо помним, как сами были когда-то отрезаны от Западной Европы, и поэтому вполне сознаём, насколько вредна такая изоляция в самых различных областях — политике, экономике и культуре. Мы не хотим, чтобы в подобном положении оказались сегодня государства, лежащие за нашей восточной границей, откуда до нас доходят голоса, выражающие подобные опасения. Интерес к действиям на уровне НПО в тех кругах, с которыми я сотрудничаю (так называемых активистов-общественников), чрезвычайно оживляется. Поэтому мы ищем партнеров для сотрудничества. На Украине мы находим их не только на территориях, прежде входивших в состав Речи Посполитой, но и на более отдаленных. Наша цель — это контакты между гражданами и забота о том, чтобы граница стран Шенгéнского соглашения была не стеной, а мостом. Евросоюз требует от нас, чтобы эта граница тщательно контролировалась, но это вовсе не должно повлечь за собой ограничения в области интеллектуального, культурного и экономического обмена.

Постепенно наш фонд устанавливает контакты местными НПО, школами, журналистами. Мы приглашаем их в Польшу. Примерно через полчаса разговора нам уже не требуется переводчик. Недавно, когда мы отправились в Киев на День Европы, я с такой радостью наблюдала, как мои коллеги восхищаются красотой этого города. С нами приехали две волонтерки из Италии. Вернувшись на родину, они смогут рассказать, что действительно побывали на Украине, почувствовали эту страну и увидели ее красоту.

На Украине начали возникать Европейские школьные клубы. Они уже обратились к нам через польское посольство с просьбой прислать им программы подготовки для учителей, чтобы те могли что-то рассказать своим ученикам о Евросоюзе.

Существует белорусское Объединение имени Робера Шумана, и через него к нам тоже обращаются люди, интересующиеся Евросоюзом. Мы организуем совместные семинары и пытаемся определить исходные общие понятия: что такое неправительственные организации, что такое гражданская активность, добрососедство и что из себя представляет Европейский союз.

Для нас важны любые контакты, пусть самые незначительные, между небольшими группами людей. Даже просто для того, чтобы они ездили в отпуск в гости друг к другу. Мой сын входит в молодежную группу Клуба католической интеллигенции. В этом году они поехали в летний лагерь на Украину, а раньше никогда этого не делали! Теперь, после нашего вступления в ЕС, это внезапно стало для них важным и интересным делом. Надеюсь, что со временем мы обменяемся адресами, по которым наша молодежь будет ездить на Украину, а их молодежь — в Польшу. Быть может, нам даже удастся организовать программу обмена волонтерами?

При проведении программ обмена с Белоруссией и Украиной основной проблемой остается нехватка средств. Как правило, участникам нужно оплатить и транспортные расходы, и расходы на проживание и на организацию встреч, необходимых для приобретения знаний и установления контактов. Недавно мы получили предложение о сотрудничестве из Молдавии. Нас совсем немного, но мы пытаемся следовать примеру отца-основателя объединенной Европы Робера Шумана, имя которого с гордостью носит наша организация, и не боимся трудностей. При наличии доброй воли учреждений и частных лиц и сотрудничества с ними, мы наверняка сумеем осуществить хотя бы часть наших планов!

Беседу вела ***Сильвия Фролов***

ПОДДЕРЖКА МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В МЕДНОМ

3 августа представители Международного и Тверского «Мемориалов» посетили Государственный мемориальный комплекс в селе Медное (Калининская обл.), где захоронены польские офицеры, интернированные в 1939 г. и расстрелянные по приказу советского руководства, а также не менее шести тысяч жителей региона, казненных по политическим обвинениям в 1930-е годы.

«Мемориальцы» были приглашены руководителями музея в связи с тем, что после перехода Катыни и Медного из национального подчинения в разряд филиалов Ленинградского музея революции исследовательская работа, проведение экспедиций и экспозиций были фактически прекращены новым начальством, деятельность комплекса сведена к сохранению кладбища.

По итогам круглого стола «мемориальцев» и сотрудников музея «Мемориал» составил памятную записку, направленную дирекции музея. В ней отмечено, что «Мемориальный комплекс „Медное" является объектом общенационального и, более того, международного значения, одним из важнейших памятников истории XX столетия на территории нашей страны». Отсюда естественно следует «не только задача увековечения памяти погибших, но и вытекающие из нее и неразрывно с нею связанные задачи собирательского, исследовательского, просветительного и воспитательного характера».

Концептуальное осмысление своей миссии сотрудниками выразилось в их работе по созданию в рамках комплекса «Медное» Информационно-музейного центра (ИМЦ), соединяющего в себе архивную, экспозиционно-просветительскую и информационную функции. Основная целевая аудитория ИМЦ — молодежь; чтобы донести до нее знание и эмоциональную память о трагедиях прошлого, необходим современный инструментарий экспонирования.

Авторы памятной записки отметили, что считают целесообразным и необходимым создать при Мемориальном комплексе постоянно действующий общественный совет из представителей просветительских и культурных организаций, педагогов, историков, работников областной администрации, а также зарубежных специалистов, в первую очередь — из Польши. Общество «Мемориал» выразило готовность способствовать установлению необходимых для этого связей. Полный текст памятной записки см. на сайте Международного «Мемориала»:

http://www.memo.ru/vesty/4new0805.htm

«Вестник Международного общества "Мемориал"», вып. 30-31, авг. — сент. 2004.

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ

К.Маслонь о польской прозе
Л.Бальцерович о победах и поражениях экономики
О.Закиров: из воспоминаний
Я.Тазбир: Хрестоматия
А.Новак о «Великом Новгороде» Стефана Братковского
Л.Колаковский об основах права
М.Выка о Станиславе Бжозовском
Я.Гондович о молодых литераторах
А.Липатов и З.Флорчак о книге Ежи Помяновского
Г.Хлыстовский: действительно ли мы не издаем русских писателей?
К.Бурнетко: Газетный киоск
Р.Пшибыльский об Иосифе Бродском и Анне Ахматовой
Б.Поцей о Ванде Ландовской
Проза Ю.Хена
Е.Помяновский беседует с Аркадием Райкиным
К.Яновская и П.Мухарский: Беседы к началу столетия
Наши за границей: А.Северин, В.Пшоняк, З.Рыбчинский, А.Холланд, Р.Полянский, А.Кшивицкий и др.
Беседы Сильвии Фролов с М.Комаром и К.Тарновским

СТИХОТВОРЕНИЯ

Милоша, Стахуры, Бялошевского, Яструна, Херберта и др.

в переводах

Бродского, Базилевского, Астафьевой, Ройтмана, Британишского, Горбаневской, Свяцкого и др.

Журнал «Новая Польша»
допущен к распространению на территории Российской Федерации
Решением Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

(Свидетельство регистрации средства массовой информации **ПИ №77-1063** от 3 ноября 1999 года)

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА РЕКОМЕНДУЕТ ЛУЧШИХ ПОЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ И КРИТИКОВ

twórczość

Старейший польский литературный ежемесячник, посвященный современной прозе, поэзии и литературной критике. Оказывает влияние на перемены в польской литературе.

Dialog

Ежемесячник, посвященный современной драматургии.

NOWE KSIĄŻKI

Ежемесячник. На протяжении более полувека незаменимый источник знаний о книгах. В каждом номере рецензии, интервью, статьи о писателях, публицистика, библиография, анонсы.

DWUTYGODNIK ruch muzyczny

Старейший и единственный в Польше журнал, посвященный музыкальному творчеству, теории и практике музыки. Выходит 26 раз в году.

НОВАЯ ПОЛЬША

Единственный журнал о Польше на русском языке. Богатая подборка публицистики польских и российских авторов. Переводы малоизвестных в России произведений польских поэтов и прозаиков.

LITERATURA na świecie

Ежемесячник. Единственный журнал, уже многие годы публикующий все интересные новинки современной мировой литературы.

Biblioteka Narodowa. Dział Wydawniczy Czasopism Patronackich,
02-086 Warszawa, Al. Niepodległości 213, tel./fax (+48 22) 6082488, tel.(+48 22) 6082374

Cena 6 zł w tym 0% VAT